

# Призма

Повесть

## Последнее лето

**НАЧАТЬ РАСПУТЫВАТЬ** эту историю следует с того, что последнее лето Зимняя, Айс, Лиций и я провели в Берлине.

Для меня это были три странные, странные недели.

Берлин встретил нас дождями и туманами. Мы аккуратно посещали все запланированные экскурсии, ходили по музеям и магазинам. Провели почти четыре часа в музее Египта и побывали в знаменитом берлинском зоопарке, и в музее Пергамон с его коллекциями древнесредне-восточных ценностей, и в парке Трептовер, посмотрели на знаменитую подзорную трубу. Конечно, мы видели Бранденбургские ворота и стояли перед Рейхстагом, рассматривая надпись «Dem Deutschen Volke» на фасаде.

Вечерами мы сидели в маленьких и от этого особенно уютных летних кафе на Курфюрстендамм — главной улице Берлина, — обмениваясь впечатлениями за день.

Это был как будто совершенно не подходящий нам — тихий, традиционный во всех отно-

шениях — отдых, словно мы были не четыре чуть шизанутых тинэйджера, а почтенные господа, посетившие места былой славы.

Айс не расставалась с блокнотом и карандашом, Зимняя с — ноутбуком, мы с Лицием — друг с другом. Мы не были влюблены друг в друга, просто я не могла без Лиция и, кажется, он — без меня.

Жизнь вокруг кипела — эмоции, энергия расплескивались по Курфюрстендамм брызгами, как из опрокинутого стакана. Это было красиво. Айс рисовала, Зимняя записывала, мы с Лицием не отводили глаз.

Да, вроде бы все было ясно и красиво. Романтика большого города и загадки его истории. Четверо лучших друзей, объединенных одними и теми же мечтами и неправильными взглядами на реальность. Споры, оканчивающиеся мирно, долгие разговоры, выставки, музеи, «творить». Каждый вечер, когда становилось совсем темно, я вела всех в Трептовер смотреть на ночное небо и, задыхаясь от восторга, рассказывала о том, что где-то там, наверху, есть тысячи параллельных миров, где есть и мы, но немного другие, не такие, как здесь и сейчас.

— Там есть сотни вариантов сегодняшнего дня. Например, в одном из этих миров мы с вами сейчас все переругаемся. А в другом — все это говорю не я, а Айс. В третьем — мы с вами

вообще не в парке, а сидим, как четыре филины, в гостинице. В четвертом — все происходит в будущем...

Но все же что-то было не так. С первых шагов по этому городу я отчетливо поняла: что-то со мной происходит, какая-то мысль пряталась и пряталась от меня, но то и дело вновь скользила: я здесь, я никуда не денусь, попробуй поймай меня! Лишь на третий день я поняла, что это: сама Германия, сам Берлин, с его замками, парками и ратушей с тридцатью шестью вывесками.

Я думала, что Берлин будет родной, знакомый из книг: набоковский, лужинский. А Берлин был загадочный, смутный, *как будто я когда-то уже исходила все его улицы, отстояла в берлинском соборе не одну службу, как будто на площади перед Ратушей слышала, как поет кто-то русскую песню про Волгу...*

Да нет же, не было такого, не была я никогда в Берлине!

И все же, казалось, Берлин был мне родным. И он был частью, вратами этой Германии, которую я и любила, и ненавидела, сама еще не зная за что.

Еще через день я оставила ребят, отправившихся на экскурсию в замок Шарлоттенбург, села на поезд и отправилась к бабушке в Баварию, в Швайнфурт.

По пути я смотрела в окно и думала: «Хотела бы я жить в Германии?» И понимала — нет, не хотела бы: «Меня не тянет сюда. Для меня здесь все чужое. Все правильное. Размеренное. Скучно-однотонное. Искусственное». Собственно, никто и не пытался заставить меня остаться в Германии.

Но — черт возьми! — был Берлин, который никак не хотел отпустить мое воображение.

В поезде со мной заговорила какая-то женщина. Сначала мы обменялись несколькими вежливыми фразами, но потом она заговорила чересчур быстро, и я попросила ее повторить помедленнее. Та насторожилась; я объяснила, что приехала из России и такую быструю речь разбираю с трудом. Она спросила:

— Warum haben Sie deutsche Familienname?<sup>1</sup>

— Ich bin Deutsch<sup>2</sup>, — ответила я.

Она усмехнулась.

— Deutsch! Aus Russland!<sup>3</sup> — возмущенно пробормотала она себе под нос, но так, чтобы и я услышала. — Deutsch!

— Deutsch, — пожала я плечами. — Как хотите.

Бабушка встретила меня на перроне.

— Oma Karina! — я вспоминала уже позабытые немецкие слова, пробовала их на вкус и говорила подряд все, что только могла вспомнить из немецкого.

Она выглядела великолепно. Я всегда поражалась: как можно иметь такой победоносный и задорный взгляд, пройдя через все, что она прошла? Но она — могла все.

— Oma Karina, was kannst Du... — и тут кто-то будто нажал кнопку стоп-сигнала.

— Karina?

Something's wrong<sup>4</sup>. Когда я не могу чего-то сказать по-русски, я всегда говорю это по-английски — так легче и точнее.

— Something's wrong, — снова отпечаталось в голове. И потом, без передышки: — Something's wrong. Something's wrong. Something's wrong. Something's wrong. Something's wrong. Something's wrong. Something's wrong, something's wrong...

Something's wrong!

Эта мысль все стучала у меня в голове, пока мы ехали в машине до дома. Я перебирала то, о чем мы говорили, — что могло натолкнуть меня на мысль о том, что что-то не так.

— Карина, — снова попробовала я это слово на вкус.

Это было уже дома, когда мы приехали.

Карина, Карина, Карина. Я чувствовала, как снова начинает кружиться голова, как я погружаюсь в старый, знакомый бред.

— Бабушка, а у тебя не осталось никаких старых фотографий?

Фотографии были, но очень мало. Я пересмотрела их все, но ничего не вспомнила. Ни единого знакомого лица, ни одного мало-мальски зацепившего мой взгляд здания или пейзажа, ни-че-го! Я стала снова пересматривать снимки. Мне казалось, что если я найду здесь хоть одну знакомую деталь, то все встанет на свои места. Берлин перестанет тревожить меня... нет, наоборот, нет, перестанет, нет, не перестанет... Я стала снова пересматривать все фотографии одну за другой — теперь уже намного медленнее, спокойнее. Снова ничего. Но на третьем круге я, наконец, нашла: у бабушки на платье была приколотая брошка. Маленькая, аккуратная брошь из горного хрусталя, обычная. Но я вспомнила ее, такая же брошь была однажды на мне... когда? Когда это было? Все завертелось вокруг...

— Стоп! — сказала я себе. — Стоп!

Три дня я провела у бабушки, и за это время узнала о ней больше, чем за все остальные мои

<sup>1</sup> Почему у вас немецкая фамилия? (нем.)

<sup>2</sup> Я — немка (нем.).

<sup>3</sup> Немка! Из России! (нем.)

<sup>4</sup> Что-то не так (англ.).



Что случилось много-много лет седьмого ноября?

Седьмого ноября...

Седьмого ноября, седьмого ноября...

Да, то самое. И не только.

Седьмого ноября год назад, два года назад, десять, двадцать, сто лет назад кто-то появился на свет. Мы почему-то редко об этом думаем, а между прочим, пока я это пишу, а ты читаешь, на свет появляются новые люди, которым суждено развязать третью мировую войну, взорвать ядерную бомбу, первыми высадиться на Марсе, сломать ногу в день своего совершеннолетия и изменить мир. Но мы-то с тобой этого не знаем, да не так уж и интересно думать о том, что может случиться в будущем. Потому что этого может и не случиться.

Поэтому будем говорить о том, что уже случилось. Про то, что происходило в прошлом, нельзя сказать: да ну ты, брось, все было совсем не так.

Впрочем, я уже заболталась. Давай я расскажу обо всем, что действительно случилось со мной, а ты сам решишь, верить мне или нет.

И знаешь, я пойму, если ты не поверишь мне, когда я скажу «я умерла, и меня больше не было». Это ведь совсем не похоже на правду. Но постарайся поверить мне, пожалуйста.

Ты видишь меня — значит, я есть. Я ничего не выдумываю, это все было, было на самом деле, просто, наверное, происходило в другом времени. Я так думаю. А что подумаешь ты — решать тебе.

Тема закрыта.

Начнем?

Началось все года три назад. Весной. Я лежала в постели и устало наблюдала за тем, как последний лучик уходящего солнца скользит по моему подоконнику. Это был один из тех дней в начале апреля, когда солнце уже светит очень ласково, а зима еще не спешит поддаваться его мнимому обаянию и уходить.

Температура медленно, но неуклонно поднималась, отталкиваясь от сороковой отметки. В горле как будто поработали валиком из наждачной бумаги. Меня лихорадило, бросало то в жар, то в холод.

— Сон и покой, — сказала врач со строгими глазами. И написала на листке шесть названий разных лекарств — добавок ко сну и покою.

Спать я не хотела и не могла. Как только закрывались глаза, начиналось что-то странное и страшное. В воздухе надо мной повисали шары — небольшие, гладкие, как для игры в бильярд, белые. Я знала, что их тридцать три и что нужно построить из них треугольник, но у меня

не получалось, треугольник рушился и приходилось начинать все сначала, а я почему-то знала, что это плохо, очень плохо...

Солнце давно погасло, и в комнате едва можно было различить смутные очертания мебели.

— Леги, ты спишь? — мама вошла в комнату.

Я молча покачала головой — говорить не могла. Она положила мне на лоб холодную, ледяную почти ладонь.

— Тебе нужно спать.

...Потолок медленно опустился надо мной, стены придвинулись. Я приподнялась и поняла, что это — *другая* комната, *моя*, но *другая*. Чуть поодаль я увидела стол. На нем стоял зажженная свеча в тарелочке. В комнате были две кровати — моя и еще одна, на которой лежала маленькая девочка, лет, наверное, пяти. Рядом с ней на стуле сидела женщина — я видела ее первый раз в жизни, но точно знала, что это *моя мама*. Я хотела спросить, как попала сюда, но не смогла ничего произнести. Оставалось только молча разглядывать потолок. И снова с него посыпались шары — белые, гладкие, числом тридцать три. Я принялась строить треугольник...

Первый шар, второй третий... Аккуратно я уложила нижний ряд. Потом, по одному, начала выкладывать поверх него второй слой. Но как только я положила девятый шар, треугольник снова рассыпался... Я начала все сначала...

Треугольник рассыпался каждый раз, когда я доходила до третьего ряда. Один раз только я смогла сложить двадцать восемь шаров — но на двадцать девятом они снова разлетелись...

Время тянулось, как кисель. Откуда-то издаleка я услышала голоса, мужской и женский:

— Lina geht es ganz schlecht. Fürchte, das Sie denn Morgen nicht erlebt<sup>1</sup>, — женский голос дрожал.

— Aber Karina?<sup>2</sup>

— Etwas besser, nur die Temperatur steigt dauernd<sup>3</sup>.

— Kann Mann Sie nicht runterschlagen?<sup>4</sup>

— Nein, Doktor sagte, das von einem Umschlag es nur schlimmer werden kann. Wenn wird die Temperatur nich anhalten, dann auch Karina...<sup>5</sup>

— Was?<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Лине совсем плохо. Боюсь, она не доживет до утра (*нем.*).

<sup>2</sup> А Карина? (*нем.*)

<sup>3</sup> Немного лучше, но температура продолжает подниматься (*нем.*).

<sup>4</sup> Ее никак нельзя сбить? (*нем.*)

<sup>5</sup> Нет, доктор сказал, что от компрессов станет только хуже. Если мы не сможем остановить температуру, то и Карина... (*нем.*)

<sup>6</sup> Что? (*нем.*)

— In einer Nacht verlieren wir zwei Kinder: diese — она указала на Лину, — erstickt, und diese — verglüht<sup>1</sup>.

«Лина — это моя сестра, — подумала я сквозь сон. — Мы с ней бодем... у нас скарлатина... кажется, в селе у всех скарлатина...»

К моей кровати подошел мужчина с очень грустными и добрыми глазами. Это был *мой папа*, хотя и его я тоже видела впервые в жизни.

— Karina...<sup>2</sup>

— Papa, — прошептала я, жадно глотая воздух для каждого нового слова. — Papa, heute sterbe Ich?<sup>3</sup>

— Nein, — ответил он уверенно. — Du stirbst nicht<sup>4</sup>.

Я откинулась на подушку. Шары висели надо мной, я испугалась, что, как только папа отойдет, мне снова придется собирать их.

— Papa, dort sind Kugeln<sup>5</sup>, — я слабо махнула рукой.

— Welche Kugeln?<sup>6</sup> — спросил он очень серьезно.

— Dort... so welche weise. Sie fallen<sup>7</sup>.

Не знаю, понял папа меня или нет, но он остался сидеть рядом со мной. Я закрыла глаза и провалилась в пустоту. Потом почувствовала, что мне на лоб положили что-то холодное, влажное, хотела сказать спасибо, но сил не было...

Не знаю, сколько дней длился мой сон. Когда я вынырнула из вязкой темноты, было светло, хотя окна были зашторены. Я чувствовала себя плохо, но никаких шаров надо мной не было, и я подумала, что, значит, я поправлюсь. Я лежала на кровати с открытыми глазами и вдруг увидела, что на соседней кровати — большая кукла. «Откуда здесь такая кукла?» — удивилась я. На ней было красивое белое платье, ангельские светлые волосы аккуратно расправлены на подушке. Я приподнялась в кровати.

«Это Лина... — с ужасом поняла я, — Лина. Я не умерла, а она умерла...»

— Karina, bist Du aufgewacht?<sup>8</sup> — кто-то позвал меня шепотом. Это была мама, во всем черном.

— Ya<sup>9</sup>, — ответила я, поняв, что теперь могу произносить слова.

— Mama, ist Line gestorben?<sup>10</sup> — Мама кивнула, и по ее щекам потекли слезы.

Только теперь я увидела, что глаза у нее красные, заплаканные.

— Mama, und Renate, Sabine, Irma, Helge — Sie sind nicht gestorben?<sup>11</sup>

— Nein, Karinchen, Sie sind nicht gestorben, und Du auch nicht. Du wirst leben<sup>12</sup>.

Потом я услышала колокольный звон. Начали звонить в маленькие колокола — значит, умер ребенок. В это время люди выходили на улицу и цепочкой передавали в оба конца, кто умер. Так оповестили все село, что умерла наша Лина.

Я еще несколько дней провела в постели. Потом начала вставать, ходить понемногу. Но одним утром проснулась от холода. Меня трясло в ознобе так, что стучали зубы. Теперь в меня вцепилась малярия. Родители испугались — от малярии уже умерли несколько человек в селе.

Они снова не отходили от меня днем и ночью. Иногда я просыпалась, видела на стуле около своей кровати спящих отца или маму и снова проваливалась в сон.

Один раз ночью проснулась — почувствовала, что меня подняли на руки и несут куда-то прямо с одеялом и подушкой.

— Papa, wohin trägst Du mich?<sup>13</sup>

— Du, Karinchen, schlafe. Wir fahren weg<sup>14</sup>.

Я не удивилась. Уже было такое — к папе приходили какие-то люди, и потом мы ночью сели на телегу и уехали в другое село. Родители тогда не сказали нам ничего, но мы слышали обрывки разговоров и поняли, что нам надо уехать, потому что мы — немцы и потому что папа — учитель.

Папа с мамой аккуратно положили меня на дно телеги, мама укрыла сверху еще двумя одеялами, а голову положила себе на колени. Рядом уже сидели мои сестры, серьезные, сонные. Испуганные. Мне вдруг тоже стало страшно.

— Mama, wir fahren wieder weg, weil wir Deutsche sind?<sup>15</sup>

— Was führ eine Dummheit! Schlafe, Kind!<sup>16</sup>

<sup>1</sup> В одну ночь теряем двух детей. Эта — задохнется, а эта — сгорит (нем.).

<sup>2</sup> Карина... (нем.)

<sup>3</sup> Папа, папа, я сегодня... умру? (нем.)

<sup>4</sup> Нет, ты не умрешь (нем.).

<sup>5</sup> Папа, там... шары (нем.).

<sup>6</sup> Какие шары? (нем.)

<sup>7</sup> Там... белые такие. Они... падают (нем.).

<sup>8</sup> Карина, ты проснулась? (нем.)

<sup>9</sup> Да (нем.).

<sup>10</sup> Мама, Лина умерла? (нем.)

<sup>11</sup> Мама, а Рената, Сабина, Ирма, Хельга? Они не умерли? (нем.)

<sup>12</sup> Нет, Кариночка, они не умерли, и ты тоже нет, ты жить будешь... (нем.)

<sup>13</sup> Папа, ты куда меня несешь? (нем.)

<sup>14</sup> Спи, Кариночка, спи. Мы уезжаем (нем.).

<sup>15</sup> Мама, мы опять уезжаем потому, что мы — немцы? (нем.)

<sup>16</sup> Тсссс... Что за глупости? Спи, ребенок, спи (нем.).

— Nein, ich weiß es genau, aber fahren Wir weit?<sup>1</sup>

— Ya, weit...<sup>2</sup>

Тут я, *Легси*, очнулась. Я болела не так сильно, как Карина, и скоро поправилась. Потом я не раз вспоминала тот сон. Решила, что мне все приснилось, что это было из-за высокой температуры. Но...

Снова и снова.

В следующий раз, кажется, была середина октября. Раннее утро. Я шлепала по вязким осенним лужам, не глядя по сторонам. Наверное, и тогда было так же холодно, как и сегодня. Я куталась в шарф, цеплялась за разломанные мысли, а люди, смотря на меня, наверное, думали что-нибудь вроде: у этой девушки большое горе. Или: ей плохо. А мне было все равно, что могут представить себе эти чужие, посторонние люди, все равно, кто они такие. Если бы ко мне подошли с любым, самым простым вопросом — я бы даже не заметила.

Мне было одиноко. *И я снова была не я*. Там, где была я, людей не было вообще. Ветер пронизывал до костей и бросал в лицо ледяные иголки.

...Почему стало так холодно, ведь я тепло одета? И почему здесь никого, никого нет?

...Я огляделась по сторонам. Снег, везде, куда ни посмотри, один снег...

Я потерялась.

Мне было страшно.

## Айс

### СЕМНАДЦАТЬ.

Исполняется мне сегодня. Отличная дата, отличный повод.

Ночью мы отправимся *дансе*. А пока мы сидим в этой пыльной, полутемной комнате, затерянной глубоко в недрах музыкальной школы. Лето, здесь пусто, за дверью не раздаются быстрые шаги, не слышно топота ножек первоклассников, сгибающихся под тяжестью своих первых нот.

Не скрипит скрипка,

не гудит гитара,

не бьет барабан. Тихо-тихо-тихо. Мы идем по коридору, сворачиваем то в одну сторону, то в другую, и я понимаю, что без Эйлина мы не выберемся наружу. Кажется, мы попали в лабиринт Минотавра.

— Эйлин, ты нас потом выведешь отсюда, точно? — спрашиваю я.

— Ты вообще знаешь, куда мы идем? — добавляет Айс.

— Конечно, — с укоризной смотрит он, — мы уже пришли.

Из связки старых ключей он выуживает нужный, и — медленно, нехотя открывается перед нами дверь. Эта школа — она, наверное, одна из самых старых в городе. Я никогда не видела, чтобы в простой школьный кабинет вела такая дверь — дубовая, резная, потрескавшаяся.

— Сейчас, свет включу, — говорит Эйлин, но я его останавливаю:

— Тссс, не надо.

Постепенно все предметы очерчиваются в темноте и принимают свой истинный облик. Мы в огромном балетном классе; все стены — зеркальные, и у меня мелькает смутное ощущение дежавю — столько меня сразу, со всех сторон... Деревянные полы, прохладные даже на вид, и хочется в пылающий летний день снять обувь и пройтись по ним босиком. В углу — покосившиеся кресла, кривоногий столик. И шторы на окнах — тяжелые, пыльные. Я трогаю одну из них, но сразу резко отдергиваю руку — а вдруг там кто-то живет? Айс тихонько проходит к стоящему в дальнем углу пианино — его-то я не заметила.

— Начнем? — спрашивает она, и Эйлин поднимает крышку, стирает пыль с клавиш.

— На этом пианино еще мой учитель играл в детстве, — говорит он.

Айс благоговейно проводит пальцем по крышке.

Пока Эйлин разыгрывается, я подхожу поближе и сажусь в кресло, Айс устраивается совсем рядом с пианино.

Эйлин — бой-френд Айс, и бой, и френд.

Она его любит. Он любит ее. Она об этом знает. Он об этом знает. Но не любит говорить.

Он: «I love you».

Она: «I know».

И так всегда.

Айс... Очень давно, пока еще наши сантиметры роста не полетели ввысь так стремительно, мы с друзьями каждую субботу катались в парке на роликах. Как-то мы с Айс укатили неизвестно куда и, упав на скамейку, заговорили о... О дружбе — так, как об этом говорят в двенадцать лет... Плюнув на ладони, мы скрепили клятву вечной дружбы рукопожатием.

Она вытаскивала меня из депрессняков, звонила раз в час, приезжала ночью.

Я держала Айс за руки, искала ей стимулы, лечила кровью.

<sup>1</sup> Нет, я знаю точно. А мы далеко едем? (*нем.*)

<sup>2</sup> Да, далеко... (*нем.*)

Я не умею говорить про дружбу так, чтобы это действительно *звучало*. И еще меньше умеет говорить это Айс. «О, это так слащаво!» — говорит она в ответ на любые проявления чувств. Поэтому Эйлину она и в будущем ответит: «Я знаю».

Эйлин — это... а впрочем, я уже сказала, что он — мой друг. Что еще сказать?

Итак, мне сегодня исполняется семнадцать. Я, Айс и Эйлин пришли в по-летнему пустую музыкальную школу, чтобы Эйлин сыграл для меня «Венгерскую рапсодию» Листа. Эйлин — он очень талантливый, слышу я.

...Эйлин, спасибо.

Нас с Эйлином объединяют две любви: любовь к музыке и любовь к Айс.

— Я тебя люблю, — говорит он ей.

— Я тоже, — смеюсь я.

Айс спрыгивает со стула.

— Ну что, пойдём? — громко спрашивает она, направляясь к двери. И, оборачиваясь, тихо добавляет: — Я вас тоже. Ну что... может, пойдём уже, а?

## Карина

**Я, КАРИНА**, родилась в субботу седьмого ноября тысяча девятьсот двадцать пятого года в час ночи при убывающем полнолунии в селе Моргентау, Гнаденфлюрского кантона АССР, немцев Поволжья.

Моргентау — Рассвет. Значит,

Я родилась ночью в Рассвете. Значит,

Все было перемешано с самого начала.

Сейчас Моргентау на карте уже не найдешь, теперь оно называется *село Нестеровка, Ершовского района, Саратовской области, Россия*.

До девяти лет мы жили там и говорили только на немецком.

Но когда мне было девять лет, нам пришлось уехать из Моргентау.

Меня часто спрашивали: почему?

«Потому что мой отец был врагом народа», — отвечала я. И снова наткнулась на вопрос: почему? Я не знаю. Считалось, что он враг народа, потому что получил образование при царизме. А раз так, значит, ему жилось хорошо.

Из-за этого в последние десять лет жизни моего отца нам семь раз пришлось покидать свой дом. Чаще всего ночью, захватив то, что могли унести, мы тайком бежали от угрозы уничтожения всей семьи. В ...-м году — в Нейдорф, потом в Ершово, затем в Орлово-Гай, где прожили три года. Год провели в Новоузенске. Два года в селе Куриловка

Всегда это было по-разному. Сначала — страшно. Потом страх стал привычкой, осталось только изматывающее чувство усталости. Мы знали, что так будет повторяться снова и снова — до тех пор, пока мы не исколесим все темные уголки, пока не доберутся до нашего последнего прибежища. Хотя... все могло быть и по-другому. Однажды мы просто не успеем уйти. И... что дальше? Мы жили под сверкающим острием дамоклова меча; он висел так низко, что иногда чуть-чуть не оставлял на нашем плече огромный рубец. Но до поры до времени все обходилось: всегда находился кто-то, кто помогал нам, предупреждал в последнюю минуту, отводил удар.

Помню, однажды вечером к моему отцу пришел старый друг. Сел, облокотившись на стол, и тихо сказал:

— Саша, за мной придут сегодня вечером. За тобой — завтра. Спасай семью, у тебя есть еще один день.

В сорок два года моего отца не стало. Это было в декабре сорокового года.

В сорок первом... в сорок первом за нами пришли.

...Сорок один, сорок два, сорок три...

## Лиций

**С ЛИЦИЕМ МНЕ** случилось познакомиться... скажем, почти случайно; знай я тогда, что этот парень с электропилой сыграет такую большую роль во всем, что мне случится сделать, наверняка бы постаралась себя к этому подготовить; наверняка бы этим все было испорчено.

Но нет, с Лицием я познакомилась... скажем, почти случайно.

Как-то в ЖЖ<sup>1</sup> я наткнулась на объявление:

**ОТКРОЮ ТРЕТИЙ ГЛАЗ  
ПОДРУЧНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.  
БОЛЬНО И ОПАСНО,  
МЕСТАМИ НЕПРЕДСКАЗУЕМО.**

Полистав дневник Лиция и поведясь на честность, я списала семь цифр его телефона и вечером же позвонила. Никто не поднимал, я снова зашла на livejournal и оставила в дневнике Лиция коммент<sup>2</sup>: «Готова попробовать. Подручный предмет по выбору?» Оказалось — по выбору. В голову пришли только нож и плоско-

<sup>1</sup> Интернет-сайт, где любой желающий может завести дневник.

<sup>2</sup> Если автор дневника не предусматривает обратного, то записи в дневнике могут прокомментировать все желающие.

губцы, я выбрала нож, попозже вечером перезвонила Лицию и договорилась о сеансе на завтра.

Утром в голове вертелась только одна мысль: «А можно красить ресницы тушью или нет?» Чувствовала себя глупой и отчаянной.

В десять я уже стояла перед дверью квартиры, указанной мне Лицием, и думала: звонить — не звонить. Нож, казавшийся холодным даже сквозь стенку сумки, намекал на то, что пора делать ноги.

«Глупо, — подумала я, — доверять свои глаза ножу совершенно незнакомого человека».

«Не незнакомого, а лже-юзера. У него класный дневник».

«Дневник, дневник... Ну и что, что дневник?» Я повернулась и посмотрела в окно.

«Пожалуй, я все-таки пойду. Сорри, Лиций», — я направилась к лестнице.

Дверь за моей спиной с шумом распахнулась. — Легси? Привет. Ну как, не раздумала?

— Знаешь... Вообще-то, раздумала.

Так мы молча стояли на лестничной площадке, смотря друг на друга. Я разглядывала Лицию: он был таким, как я и ожидала. Вид погруженный в себя, но не потерянный. Светлоглазый. Спокойный. Он мне очень понравился.

— Не сходи с верного пути, — наконец, сказал он, затем неожиданно рассмеялся и добавил: — Да не бойся, все будет окей!

— Точно?

— Надеюсь, — подмигнул он.

«Хотя бы честно», — подумала я и сделала три шага вперед.

— А это больно?

— А ты наркоз переносишь? — ответил он в тон.

— А я без наркоза хочу.

— А тогда больно.

— А... тогда... ну и ладно.

— Заходи, — посторонился он.

Я зашла, сняла пальто, повесила его на крючок, вытащила из сумки нож.

— Подручный предмет...

— А, да. Так, — он повертел нож в руках, — лезвие не такое тонкое, как, — взгляд на меня, — тебе нужно, ладно, у меня есть другой.

— А он у тебя стерильный? — наострила я уши.

— Сейчас будет, хотя, в общем-то, это необязательно.

Я пошла за Лицием в комнату — он достал нож с черной ручкой и опустил его в квадратную стеклянную колбу с какой-то зеленой жидкостью.

— Это что?

— Стерилизатор. Боишься?

— Еще как. А вдруг ты — серийный убийца какой-нибудь?

— А разве я похож?

— Мало ли? Может, и похож, может, и нет, я не знаю, как они выглядят.

— Не совсем так, как я. Хотя мне тоже не доводилось встречать. Ну, начнем?

...Загадочный человек этот Лиций. До сих пор не знаю, как я решилась встать под нож из этой зеленой субстанции, но что-то во взгляде держащего его человека подсказывало: все в порядке, бояться нечего. Да, я могла бы уйти — дверь Лиций оставил открытой. Но вместо этого я сказала:

— Давай все-таки с наркозом.

Он кивнул.

...Пробуждение я помню плохо. Ужасно саднило лоб, хотелось пить, и голова раскалывалась. Я открыла глаза и увидела, что повисла на каком-то кресле; напротив, за окном — багровеющее небо с прилипшим оранжевым солнцем.

«Небо горит. Пора звонить пожарникам», — подумала я и вышла в коридор.

Из другой комнаты — ура! кухня! вода! — вышел Лиций.

— Ты как? — коротко спросил, вид был самый что ни на есть озабоченный.

— Я хочу пить. И еще зеркало, — я страшно боялась, что на лице останутся шрамы.

Лиций ушел в кухню, а зеркало я сама увидела на стене.

Ни порезов, но ссадин, ни шрамов. Я закрыла глаза, открыла, снова на себя посмотрела. Я выглядела так же, как и утром.

— Почему на мне нет порезов от ножа? — спросила я, выхватывая у Лиция стакан с водой.

— А почему они должны быть?

Молчание.

— Но... операция прошла успешно, так?

— Вполне, и даже более чем.

— Здорово. Подожди, а... что теперь?

— А теперь все зависит только от тебя. Захочешь — что-то сможешь. Не захочешь — не сможешь.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, ты сама знаешь, писала об этом в своем ЖЖ.

— Ты читал мой ЖЖ?

— Конечно, а как бы я тебе тогда открывал третий глаз?

— Тоже логично.

— У тебя интересный дневник. Только торопливый какой-то, как будто ты спешешь и всегда недосказываешь чего-то.

Так состоялось наше знакомство. Проговорив еще часа три, не только о третьем глазе, мы поняли, что, наверное, нам есть о чем поговорить.

— Все только с помощью большой и большой работы, — предупредил меня Лиций, когда я, поздно вечером уже, накинув капюшон, садилась в такси.

Я над этим работаю.

## Война

**...ОГРОМНЫЙ УРАГАН** надвигается прямо на меня; бросает в лицо кривые палки, изогнутые заклинанием старой карги-ведьмы; комки бумаги с криво набросанными строчками, ведра, грязные метлы, ружья, камни, песок — все это летит на меня, ударяя и оставляя следы, рваные царапины. Каждый следующий предмет — сильнее предыдущего: они вытягивают из меня силу, я это чувствую, но не могу сопротивляться: камешки становятся огромными булыжниками, все больше и больше, больше! Больше! Уже огромный валун катится на меня, а я не могу сдвинуться с места: вся моя сила ушла в него. Он надвигается на меня, и я, мысленно ругая себя за слабость, закрываю глаза...

Вдруг. Пробуждение. Саднит в висках, больно пошевелиться; осматриваюсь. Я не дома. Пытаюсь вспомнить, как здесь оказалась, — не могу. «Я подумаю об этом, когда проснусь».

Снова просыпаюсь, на этот раз — от знакомого гудка будильника, нащупываю сотовый телефон и отключаю звук, смотрю на экран: двадцать второе июня, половина восьмого утра.

В памяти всплывают отрывки ночного кошмара, с испугом оглядываюсь по сторонам: где я? Знакомые очертания... я дома; странный сон; улыбаюсь...

*22 июня 1941 года.*

— Ирма, сколько сейчас времени? — спрашиваю я у сестры.

Солнце бьет ей в глаза, она прищуривается.

— Где-то четыре, наверное.

— Карина! Ирма! Пойдемте в круг, танцевать! — кричат нам — сегодня в Куриловке одновременно шесть свадеб, вся деревня гуляет. Четыре часа пополудни. Половина пятого.

В пять часов по улицам едут вестники:

— Всем срочно собраться на стадионе! Началась война!

— Что это, шутка? Война, — это слово повторяется всеми подряд на разные лады. — Война, война, война!

Гул растет. Мы с Ирмой выходим из круга и бежим к матери. Мама, что значит — война?

Вместе со всеми спешим к стадиону; он переполнен. Огромное море бушует, переплескивая через трибуны, все пытаются друг друга перекричать, наконец, кто-то один запрыгивает на трибуну и машет рукой с зажатым в ней листом бумаги.

**В четыре часа германские войска бомбили Киев, другие пограничные пункты.**

**Страна узнала об этом лишь спустя двенадцать часов.**

Сталин запрещал открывать встречный огонь, доказывая, что это — провокация. Бряцающие и клацающие войска продвинулись на сотни километров внутрь страны, они рвали ее на части и грызли железными зубами.

Россия, очнувшись ото сна, вскочила на военные рельсы.

Нужно было срочно перенести все фабрики, заводы, по возможности, с запада на Восток — **в Сибирь, Казахстан, на Урал.**

В первые месяцы миллионы советских солдат попали в плен.

Ленинград не сдался более чем за девятьсот дней блокады.

А мы тогда, двадцать второго июня, стояли на стадионе, слушали сообщения о начале войны, переглядываясь. Каждое лицо означало: страх. Все прекрасно понимали, что такое война с Германией: война с немцами.

**Германские войска продолжают наступление.**

Мир вдруг стал огромным; те километры огромной страны, которые раньше воспринимались, как что-то единое и непостижимо огромное, разделились, разбились на полоски и стали измеряться цифрами, городами, о которых мы раньше не слышали, и снова цифрами: «Враг продвинулся на столько-то километров», «Враги захватили город N\*». Враги — это были немцы. А немцы — это были мы.

И мы вдруг стали очень маленькими в этом растянутом до пределов мире.

Переселение АССР немцев Поволжья и немцев Крыма, Украины, Кавказа было произведено благодаря гениальному и мудрому решению партии и правительства во главе с отцом, учителем, другом и сыном трудового народа, вождем и впоследствии генералиссимусом Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Крестик, крестик, еще два крестика на карте, еще множество их было поставлено рукой Ста-

лина, и, наконец, в августе сорок первого года вышел указ о переселении всех немцев с европейской территории СССР в Азию. Миллионы людей грузили в скотные вагоны и увозили нах Остен.

*Сталин — наша слава боевая!  
Сталин — нашей юности полет!  
Великому Сталину — ура!*

*Мудрому вождю, учителю, отцу  
И другу — Слава! Ура!*

*Спасибо товарищу Сталину  
За наше счастливое детство!!!*

По списку мы заходили в вагон. Оконца в нем были очень маленькие, зарешеченные, и от этого вагон казался еще теснее и угрюмее. Хорошо, что в окнах хотя бы не было стекол, и через маленькие эти квадратики к нам проникал воздух. Мама, я и две мои сестры — старшие Рената и Сабина с нами тогда уже не жили — протиснулись друг к другу и уселись на своих узлах. Помню, я все хотела спросить у мамы — куда мы едем? Но понимала, что и мама знает столько же, сколько я, поэтому молчала. Из Куриловки вывезли, кроме нас, еще шестерых — всего одиннадцать человек. Охранников с нами было пятнадцать.

Поезд наш ехал по ночам, а днем мы стояли в степи — останавливались у какого-нибудь водоема, чтобы все могли умыться, попить воды. Через одиннадцать дней нас выгрузили на станции Кай-Багор, в Кустанайской области — прямо на путях: вокзала там не было. Три ночи мы провели, греясь у костров, на четвертый день ближе к полудню пришли подводы. На них мы погрузили вещи, а сами побрели следом.

Так мы прибыли в Маршановку.

## Фиолетовый куб. Красный шар

**В ЭТОМ ОГРОМНОМ** фиолетовом кубе не чувствуешь своего веса и не удивляешься, обнаружив, что сидишь, скрестив ноги, в воздухе.

Сквозь прозрачные стенки куба я вижу, что происходит снаружи. Люди просыпаются, потягиваются, зевают, идут на работу, бездельничают, отдыхают, гуляют, смотрят фильмы, женятся-разводятся... и все это — не поднимая глаз. Мне обидно, что и я — такая же, я также живу своей воображаемой полной жизнью и не замечаю, что, может быть, из огромного фиолетового куба, прижав ладони к стеклу, я в любой момент

пытаюсь достучаться до самой себя. Я слепа, как и все вокруг. Я себя не вижу. И пусть этот фиолетовый куб упадет прямо перед моим носом — я пройду и не замечу его.

Поэтому я постепенно привыкаю к тому, что бесполезно что-то доказывать самой себе, но есть еще другой путь — сложнее и гораздо интереснее. Я слежу за каждым своим шагом.

...Однажды мой куб загорается, начинает полыхать красным пламенем, и стенки его разгибаются, меняют форму. Чувства страха нет. Вокруг меня порхают багровые искорки; я ловлю одну из них за хвост; она не обжигает меня, а вдруг оборачивается маленькой рыбкой и заглядывает мне в глаза с потаенной надеждой. Я чувствую себя царем, богом, ведь я — властелин этого куба.

— Плыви! — отпускаю я рыбку, и она, вильнув хвостом, исчезает.

Вокруг меня много таких искорок, они сливаются в потоки и начинают в бешеном темпе вращаться вокруг меня; страшно. Мой уютный куб дрожит, изгибается... и вдруг превращается в огромный багровый шар, пышущий духовой.

Жарко.

Напротив меня, открыв космосу ладони, в позе лотоса сидит Лиций. Он что-то говорит, но я не слышу его, как будто чья-то рука отключила нам звук. Но его дыхание становится... видимым; он говорит, и между нами возникает завеса из золотистых букв его слов. Я читаю их, неровными глотками, быстрее, чем они успевают появляться в воздухе:

— *Поговорим о жажде. Это чувство может осесть надолго. Самая обычная физическая жажда, желание зачерпнуть рукой из центра Вселенной, пить, пока не кончится вечность. Так вот, Она жжет спички возле моих глаз и кладет их в воду, эту воду я выпиваю и... наваждение проходит. Пытаюсь пересчитать количество спичек в Ее руке. Первая, я собираюсь с мыслями и вдумываюсь в Ее слова. Вторая, я соглашаюсь с Ее первой фразой; третья, появляется противоречие; четвертая, пытаюсь почувствовать, как Она читает мои мысли, если... — он делает паузу, — если Она их вообще читает. Пятая, понимаю, что неплохо было бы все это записать. Шестая, вспоминаю какую-нибудь грубость, в чем после раскаиваюсь, и пытаюсь быть Ее во всем благодарным. Седьмая... или все же восьмая?*

Я открываю в ответ свои ладони и начинаю говорить. Золотистая пыль срывается с моих губ и вьется перед Лицием. Я не знаю, что говорю, я не знаю, что он сейчас читает. Потом хо-

лодный голос в висках начинает читать вслух то, что, должно быть, было на языке:

— Я чувствую себя одетой в огонь. Или в лед, среднего состояния мне давно уже не дано. Привычно и волнующе для меня — первое, но обычно, увы, второе: я выпадаю из секундной эйфории и перестаю чувствовать, как горячая кровь течет по венам, — наверное, она замерзает. Вместе с ней — и я: меня хватает от силы на час-два, потом — провал, час-два — снова нет сил, встпшка, эйфория... глупо, но знаешь, как это изматывает? Не вижу никакой конкретики, не хочу приземленности, закрываю глаза на реальность, не хочу останавливаться и закрывать мир в себе. Потеряла счет времени.

Лиций протягивает ко мне руки и прорывает завесу наших слов. Я вижу струящийся из кончиков его пальцев огонь. Огонь собирается в один трепещущий комок; по губам понимаю, что Лиций велит мне взять его. Складываю ладони ковшиком и осторожно забираю огонь. В моих руках пламя разгорается. Поднимаю руки над головой и развожу их в стороны, рисуя вокруг себя большой круг.

Не успеваю дорисовать. Раздаются удары, треск, стенки шара ломаются, между мной и Лицием появляется преграда, вижу чьи-то лица, крики, кровь, становится не по себе, сквозь меня кто-то проходит, Лиция больше нет, шара нет, все охватывает багровое пламя, оно неожиданно обжигает...

После этого я не помню ничего.

## Зимняя

**ЗИМНЯЯ. ЭТО ОДНО** их тех знакомств, которые будто бы случайны, а на деле — так должно было быть.

Познакомились мы в Интернете. Нет, на курсах китайского. Нет — в метро.

Да, именно в метро.

Поезд тряхнуло на повороте, меня бросило на стоящую рядом девушку, а ее, в свою очередь, на другую девушку, которая что-то читала. Пока мы собирали свои упавшие вещи, двери вагона открылись на станции «Библиотека имени Ленина», и выяснять, где чьи книги, пришлось уже...

— Кажется, это моя книга, — нахмурилась девушка — та самая, с книгой, на которую бросило девушку, на которую бросило меня.

Я держала в руках «Пособие для изучающих китайский язык». У меня тоже была с собой такая книга.

— Извините. Просто у меня такая же.

Девушка внимательно посмотрела на меня, и рассмеялась.

— Я помню! Тебя зовут Легси.

До курсов мы дошли вместе, вежливо разговаривая на общие темы — о книгах, кино, о том, что-де среда заела.

Оказалось, что тем для разговора в нейтральных тонах у нас было много. И еще больше их открывалось, стоило хоть чуть-чуть переступить эту черту нейтральности.

Зимняя меня потрясла. В ней было — и навсегда сохранилось — то, что сейчас так редко встретишь в людях: цельность и уверенность в собственном пути.

Наверное, именно из-за этого Зимняя оказалась самым живым человеком из всех, кого я знала.

Она ни под кого не подделывалась и была не похожа ни на кого. Когда мы стояли в метро, я насмотреться не могла на ее ботинки. Это были симпатичные желтые лодочки на огромной платформе, со скалящимися зубами на носу и клыками. Я думала — забавно будет, если я не отдам этой девушке учебник по китайскому, а она возьмет и скажет своим ботинкам укусить меня за ногу: они — как дернутся, и я — как останусь без одной ноги.

Но несмотря на эти ботинки и еще тысячу деталей, не вяжущихся ни с героинями Тургенева, ни с Изольдой, ни с кем из милых монахинь, в Зимней была какая-то очень твердая и несокрушимая духовность. Она всегда была уверена в себе и своем пути; если ошибалась — не стеснялась свои ошибки признавать и исправлять. Не знаю, откуда в ней это было — хотя... глупо задавать такой вопрос. Конечно, от Бога.

Конечно, это все я о ней узнала много позже того, как мы познакомились. В тот раз мы просто пришли вместе на курсы, обменялись номерами телефонов, пару раз отправили друг другу по смс.

На самом деле мы подружились благодаря Живому Журналу. Она вела дневник — я вела дневник. В моей инфе я указала номер аськи — она послала мне запрос на авторизацию.

Она поздоровалась — я ответила.

Я спросила как дела — и она честно ответила: «Хуже некуда».

Вот с этого момента, наверное, все и началось.

Если бы Зимняя тогда сказала: «Да нормально все», вряд ли бы мы разговорились. Да, в какой-нибудь из параллельных реальностей мы бы все равно подружились, просто какими-то другими тропами все сложилось бы в нашей

жизни. Но она честно призналась, что дела идут плохо, и, пока мы переписывались о том, почему — плохо, шаг за шагом мы за одну ночь общения и чтения от первой до последней записи дневников друг друга залезли так далеко в each other's souls, что дальше уже просто некуда было.

Оказалось, что мы похожи. В том же, в чем мы не были похожи, мы были полной противоположностью друг друга.

Зимняя была высокой рыжеволосой хиппи-стайл-девочкой с огромными карими глазами. Я — Белоснежка из параллельной реальности.

На курсы китайского я забрела случайно. Мне хотелось попробовать, хотя бы по чуть-чуть, всего, что я не знала. Поэтому когда однажды, идя по улице, я наткнулась на вывеску: «Курсы китайского языка», не раздумывая ни минуты, я вошла внутрь, узнала, что через месяц будет набираться группа новичков, и оставила телефон.

Вскоре я уже корпела над словарями и глоссы в лингфонном кабинете.

Зимняя же бредила Китаем, болела им. Ей на момент нашего знакомства было семнадцать лет, как и мне. Но у меня будущее было одним большим знаком вопроса. У нее — одним большим иероглифом. Все, что могло касаться ее будущего, так или иначе касалось Китая.

Ее шпильки, ее книги, ее музыка, ее танцы, ее философия, ее одежда — все оказывалось связанным с Китаем.

Потом я познакомилась Зимнюю с Айс и, пока они отгадывали мысли друг друга и по очереди произносили их вслух, пила горячий шоколад. Так и должно было быть — они отражали друг друга. Тут мне позвонил Лиций и решил тоже к нам присоединиться; а приехав, не растерялся, быстро считал все с наших лиц и сказал:

— Вот и замечательно, — и заказал двойной эспрессо.

Все теперь были так или иначе окольцованы — *это тоже потом сказал Лиций.*

## Рената

**В СОРОК** первом... да, это было в сорок первом... Тогда за нами снова *пришли*, тогда мы уже не успели да и не могли скрыться, никто из нас уже не мог изменить ничего.

Мне тогда было пятнадцать, моей старшей сестре — двадцать восемь.

Она жила не с нами, а в Москве, в загадочном Калашном переулке, и работала в немецком по-

сольстве, но уже решенным вопросом было, что скоро она бросит эту работу.

Рената должна была выйти замуж и уехать с мужем в Германию. До свадьбы оставалось несколько месяцев. Ее жених уехал в Германию, родственники помогли ему найти квартиру. Он прислал Ренате открытку с коротенькой запиской: жду, влюблен, влюблен, влюблен... Все было решено; она писала нам легкой рукой счастливые письма.

Потом — как пушечный удар: война. В доме стало тихо. Писем от Ренаты не приходило; мама надолго закрывалась в комнате и выходила с красными глазами. Мы вели себя тихо.

В доме поселилась тревога — но это не был обычный абстрактный страх. Чувство было острым; отточенным.

Через много-много лет, когда мы наконец-то встретились, Рената сухо рассказала, что с ней произошло — без прикрас и подробностей.

Тогда же мы ничего не знали; мама сходила с ума от тревоги, писем от сестры все не было; потом за нами пришли и увезли. Только через два с половиной года к нам пришло письмо от Ренаты.

Так мы узнали, что и за ней тогда пришли — двадцать второго июня.

Она хотела спрятаться в посольстве; наскоро бросив в сумку деньги, документы, она выбежала в Калашный переулок.

Я часто пытаюсь понять: о чем она думала в те страшные часы? О чем может думать молодая женщина, пытающаяся найти убежище, спасаясь от погони? Весь мир мелькал перед ней как калейдоскоп: что делать?

Что она могла сделать?

Работники посольства поспешили выйти на улицу; они взяли Ренату в кольцо, пытались ввести ее в здание. Преследователи вырвали Ренату из окружения и увезли в тех же вагонах, что и нас — потом.

Она никогда не увидела больше своего жениха. Никогда.

Мама, две мои сестры — Ирма и Хельга — больше не увидели земли, где родились.

Вообще, много нам осталось таких «больше никогда».

...Потом уже я часто вспоминала слова своего отца о том, что мы, немцы, в России — неродные дети. И это всегда, особенно в войну, чувствовалось, даже в мимолетных репликах: «...тоже человек... хороший человек, хотя и немец... трудолюбивый, добросовестный, а немец... как жаль... такая красивая девушка — и немка...»

Я молча стискивала зубы, когда слышала такое. Мы ведь не сами сюда явились, как непро-

шенные гости, и мы не хуже и не лучше других. За что же так с нами?

Ренату отправили в лагерь, на лесоповал.

## Готическая рапсодия

**ВЕЧЕР. НОТА** за нотой.

Меняю Кольцо на Радиус. Долой кольца — обручальные, свадебные, метро, серебряные, платиновые, глупые, узкие, широкие, старые, новые, консервативные, ограничивающие, смешные, нелепые, бесконечные, неясные!

Хочу точности и четкости  
в отношениях, и без аллегорий,  
в жизни, и без путаницы  
в сердце, и свободно  
в свободе, и вечно,  
в вечности, и относительно.

«Все в жизни относительно», — спускаюсь по лестнице, смотрю на часы: одиннадцать-одиннадцать. Поздно, полно подозрительных полулюдей-полу-непонятно-кого.

В ожидании первого вагона первого попавшегося поезда поднимаю глаза и вижу парня, разглядывающего меня с видом предвкушающего резню бензопилой маньяка. Ох.

Он не отрывает от меня взгляда,

и мне становится совсем не по себе. Рассматриваю его исподлобья. В убийственных ботинках, кожаных штанах и косухе, на боку ржавая цепь. Взгляд затравленного хорька. Спокойно, только спокойно. Я медленно иду по платформе и останавливаюсь около четвертого вагона. Оборачиваюсь — странный парень идет за мной, улыбается — ехидно: привет, вот и снова я.

Ну, привет.

Улыбаюсь в пол и поворачиваю обратно, в сторону первого вагона. Прогуливаюсь. Он — за мной. Поезд подходит, я останавливаюсь около второго вагона и с безмятежным видом разглядываю потолок.

Ну же, давай двигайся быстрее, тебе что, цепь мешает?

Дополз, слава богу. Пропускаю его вперед — он улыбается уже совсем нехорошо и проводит рукой по горлу.

...Можно передумать о тысяче вещей в одну десятую долю секунды. Войдя в вагон, я поняла, что будет дальше. Ненормальный мальчик придушит меня цепью где-то в пяти минутах ходьбы от метро «Проспект Вернадского». Напомнит мне, что бриллианты — лучшие друзья девушки. И подарит мне сразу целый гарнитур: серьги, кольца, два браслета, колье. Подумает и

добавит еще бриллиантовый поясок и серьги для пирсинга: в нос, в язык и в ладонку. И прямо там, на улице, достанет скальпель из кармана и куртки и начнет меня одаривать своими драгоценностями. Начнет, наверное... с сережек... нет, с колье. Нарисует мне скальпелем на шее тонкие нити, бусины, бриллиантины то есть, — медленно, аккуратно, как первоклассник выписывает буквы — одну за другой; тщательно вдавливая скальпель, вырежет заклепки... потом серьги с крючками-застежками. Потом браслеты и поясок на талию, тоненький такой. Кольца, обязательно по одному на каждый палец — он же щедр. Одно кольцо получится неаккуратным, и он резко сорвет его вместе с пальцем. Луна будет светить с неба.

Обо всем можно передумать за десятую долю секунды.

За ту же десятую долю секунды до того, как двери должны были закрыться, я вылетела из вагона метро.

Хлоп. Закрылись двери, и хорек с цепью и искаженным от ярости лицом заколотил по дверям, выкрикивая что-то.

Поезд уехал. Я рухнула на скамейку.

— Брейнингер, ты ненормальная. Ты только что до смерти испугала какого-то хорька с цепью от игрушечного поезда, которые вез своей бабушке пирожки и средство от мигрени. Ты испугала его так, что он даже бился о двери вагона и кричал тебе, что таких, как ты, надо запирать в клетке. Брейнингер, таких, как ты, надо запирать в клетке. Вставай, чего ты сидишь, что, ноги отнялись, что ли? Я мысленно тараторила сама с собой.

Если бы не предчувствие того, что сейчас встречным поездом приедет любитель бриллиантов, избавляющий от мигрени, я бы...

Я бы пришла домой на час позже. Только и всего.

## Спецкомендант

**ПРИЕХАВ** в Маршановку, мы сразу начали работать. А через день после приезда я побежала на почту с ворохом писем в руках: почти все — в Куриловку. И довольно скоро получила ответ: оказалось, что мои бывшие одноклассники уже снова сели за парту. В районном центре Карасу была средняя школа, но мои восемь классов остались позади, поэтому каждый вечер, засыпая, я с тоской вспоминала свою школу, учителей, друзей, первую любовь, оставленные далеко-далеко. Часто бывало, что все уже спали, а я прокрадывалась на крыльцо и подолгу сидела там,

утирая слезы и разговаривая со звездами — больше ведь мне говорить было не с кем.

— Пожалуйста, пусть война поскорее кончится, и мы все попадем домой, на Волгу, как можно скорее, скорее, скорее!

Днем, во время работы, мне нередко приходилось задерживать дыхание, чтобы не заплакать. Иногда мне хотелось броситься на кого-нибудь, разбить вдребезги все, что под руку попадется. Я сжимала кулачки и молчала.

Седьмого ноября тысяча девятьсот сорок первого года мне исполнилось шестнадцать лет, и в моем паспорте значилось: «**Разрешено проживать только в пределах района Карасу**». За нарушение этого правила мне грозили двадцать пять лет каторжных работ.

Мое будущее, как мне казалось, было перечеркнуто навсегда. Я не могла уже увидеть своих друзей, не могла вернуться на Родину, не могла учиться, не могла вернуться к самому любимому на свете человеку. Если еще совсем недавно, в октябре, я на что-то надеялась, думала, что вот-вот все станет по-старому, то теперь уже не оставалось никаких сомнений, никаких надежд — ровным счетом ничего...

С ним я могла теперь только переписываться — так часто, как позволяла почта: одно письмо за месяц, а то и полтора — после него несколько дней я ходила счастливая-пресчастливая. Потом снова впадала в уныние.

Так я пряталась не один месяц; наконец, однажды со мной случилась истерика прямо на току: я упала на ворох пшеницы, билась в судорогах, потом вскочила, побежала в степь, повалилась прямо на холодную землю и кричала, ругала и степь, и эту полынь, и ковыль этот, и веялку, на которой я уже не могла больше работать, ругала эту проклятую войну — почему она именно с Германией, и вообще, зачем она нужна, эта война... На току в это время было двенадцать взрослых женщин, по шесть человек на двух веялках. Все они бегали вокруг меня, плакали, держали за руки, пытались успокоить. Я кричала:

— Почему, зачем это нужно? Почему нам, если мы этого не хотим? Я молодая, влюбленная, я хочу вернуться домой, к своим родным и друзьям, к нему! Никто ведь не хочет воевать, женщины плачут, мужчины, уходя, целуют землю, потому что знают, что не вернуться, никому это не нужно, *никому!*

Потом одна женщина, тоже приезжая, в прошлом учительница, села около меня и сказала:

— Все-то ты, детка, правильно говоришь. Мы тоже так думаем, а ты вслух сказала. Все пройдет, война кончится, и все будет хорошо. Про

тебя много говорят разного, что ты училась много и хорошо и активная была, а теперь такая хрупкая и красивая девочка, на тяжелой работе стоишь. Да только кто ж теперь посмотрит, что ты ребенок еще... Пойдем, немного осталось, скоро уже домой можно будет идти.

По пути домой мы всегда проходили мимо кладбища, где я сама боялась ходить — мне казалось, холод сковывает колени и кто-то пытается заговорить со мной. Вот и в тот день, проходя мимо, я старалась не смотреть направо, на ряды мрачных крестов. Вдруг у меня потемнело в глазах, и я едва успела ухватиться за руку идущей рядом женщины.

Потом сказали, что лицо у меня стало бледное, как мел, я потеряла сознание. Женщины привели меня в чувство. Кто-то сказал: «Это из-за кладбища. Страшно тут ходить». А та, что разговаривала со мной днем, покачала головой: «Нет. Это война».

С тех пор я все время старалась быть спокойной и не привлекать к себе лишнего внимания, но за три дня со мной четырежды случился обморок. Женщины стали косо смотреть на меня, избегали встречаться взглядом. Я старалась ни с кем не заговаривать без особой необходимости, даже встречая их после работы в селе, неудобно и неприятно было видеть, как они поспешно сворачивают разговор, спешат отделаться от меня. Только по вечерам я часто ходила к нашим соседям, читала вслух газету; нередко они просили меня рассказать о тех местах, где родилась и выросла. Этим людям действительно было интересно послушать что-нибудь обо мне: не так, как, полюбовавшись на ярмарке на трехголового теленка, чертыхаются и проходят мимо, а вдумавшись, примерить мою жизнь на себя, сравнить с собой.

Я все меньше и меньше могла говорить с мамой и сестрами — то, что нас объединяло, — смерть отца, насильственный отъезд, последний взгляд на брошенный дом — это нас и отдаляло друг от друга; в нас самих мы видели то, что больше всего хотели забыть; нас тянуло к друг другу, и мы друг друга боялись. Внутри семьи поселилось разъедающее душу одиночество.

Через три дня после происшествия на току к нам пришли гости: супруги Лейкам, учителя немецкого языка, знавшие нас еще по Куриловке. Они сказали, что по селу прошел слух, что я «припадочная».

На следующий день к нам зашел бригадир и предложил мне отдохнуть недельки две; а вскоре он предложил отослать меня на курсы трактористов в поселке Караман, что в пяти километрах от районного центра Карасу; от Мар-

шановки же этот поселок был в двадцати километрах.

Отправились туда мы вдвоем с одной немолодой женщиной, которая была очень слаба здоровьем и не работала — послали на тракторы именно нас с ней, потому что каждая пара рабочих рук была на счету: неделю назад всех немцев-мужчин мы проводили в трудармию, спасся только один Лейкам, который был тяжело болен. Все мужчины были со средним или высшим образованием; их направили в Свердловскую область на лесоповал.

Свердловская и Молотовская области — это были самые страшные места. От голода и холода там умирали тысячи людей. Они жили в лесу, в бараках, где было так холодно, что даже не таял снег на полу. Каждое утро несколько человек уже не вставали с нар — их хоронили где-то, сбрасывали в овраг, засыпали снегом их оставшиеся в живых товарищи, а потом, промерзшие до костей, полуголодные, шли работать. Многие от истощения уже не могли работать — их отпускали домой. Они шли, шаг за шагом, одни умирали по пути, другие доползали домой, и родные закрывали им глаза.

Я тогда еще не понимала вполне, что такое трудармия. Думала, там работают — «трудятся». А эта женщина, с которой мы пошли на курсы, сказала: «Трудармия — это не где работают. Это где умирают». Ее мужа тоже забрали на лесоповал, и она все время бормотала шепотом: «Боже, спаси и сохрани».

Тракторному делу нас учил один комбайнер, который читал по слогам. Поэтому приходилось мне читать, а он уже со знанием дела показывал все прямо на тракторах, этих СТЗ, СХТЗ, на которые мы смотрели с чувством благоговейного восторга и с ужасом.

Холодное, мрачное время. Занять себя было нечем — ни книг, ни газет, ни даже какого-нибудь старенького патефона. Выйти на улицу в лютые морозы лишний раз казалось просто невозможным; большую часть времени мы проводили там же, где учились, — в старом, чуть покосившемся на один бок, хитро прищурившемся амбаре. Спали мы, укутавшись кто чем, прямо под комбайнами, сначала устало переговариваясь, но почти сразу теряя нить разговора и проваливаясь в глубокий сон. Так прошли зима, весна и наступило лето. Из всех курсантов отобрали восьмерых, остальных распустили по домам. И через некоторое время нам дали работу — мне в том числе. Но я не имела права выезжать из Карасу.

— Я это дело улажу сам, — сказал директор совхоза.

Сказано — сделано. Через два дня ко мне прибежал стажер и сказал идти с паспортом в контору, в кабинет директора, чтобы получить разрешение на работу от военного из спецкомендатуры.

Через пятнадцать минут я уже стучалась в скромную деревянную дверь — директор приветствовал меня и сказал какому-то немолодому плотному человеку с большим портфелем:

— Вот та девушка, о которой я вам говорил, — сказал директор. Но спецкомендант неприязненно посмотрел на меня и, покачиваясь, делая шаг за шагом в мою сторону, зашипел:

— Почему бегаем с места на место? Кто решил? Разве не знаешь, что тебе теперь двадцать пять лет каторжных работ грозит? Ты же прописана в Маршановке!

— Я не бегаю самовольно, я пришла сюда по районной повестке.

— Ничего я не знаю про эти ваши повестки! Я тебя забираю отсюда! Иди собирай вещи!

— Вы разве не знаете правил? — вмешался директор. — В паспорте у Карины написано, что ей можно жить в пределах Карасу, и она живет в пяти километрах от районного центра — нарушения никакого нет, тем более что вы сами визируйте ее повестку. Вот, — протянул он бумагу, лежавшую у него на столе, — ваша печать и подпись.

Комендант задвигал челюстью, борода его заходила из стороны в сторону. Наконец, он махнул рукой и выговорил:

— Пусть она завтра придет ко мне со своим паспортом и с повесткой. Я еще подумаю над этим вопросом. Вы понимаете, конечно, что я запросто могу эту вашу бумажку признать недействительной, и девчонке грозит...

Директор поднялся из-за стола.

— Мы сейчас с вами поедем в райком партии к Дыхову и продолжим разговор у него.

Коменданта вмиг как подменили. Он быстро вытащил из портфеля чистый бланк, повертел его в руках, впечатал в стол и бросил мне:

— Давай, пиши фамилию, как тебя там!

Я написала, он выхватил у меня листок и запихнул его обратно в портфель.

— Ну вот все оформлено правильно до свидания, — с этими словами Иудушка испарился. — Дурак старый, — вздохнул директор, потом вспомнил, что не один в комнате и осекся.

— Говорят, что дураки опаснее врагов, — вздохнула я. — До свидания и спасибо вам большое.

Дней за десять до моего первого выезда на сборку урожая неприятный человек из спецко-

мендатуры объявился снова. Покрутился-покрутился и исчез. Мне было не до него. Именно в тот день мне предстояло первое серьезное поручение. Наш учитель на обкатке мотора сломал правую руку, и мне пришлось вести сцеп двух комбайнов.

— Смотри, Карина, доверяем тебе трактор и два комбайна! Не подкачай!

В первое лето мы поехали косить на третью ферму, поселок в пятнадцати километрах от центральной усадьбы. Всего таких ферм было пять, и наш директор совхоза частенько совершал круговые осмотры.

В один из дней приехал он и к нам, вместе с комендантом. Во время перерыва тот снова все время крутился поблизости, а когда я ненадолго осталась одна — тут как тут, и портфель сжимал так же судорожно, как и в прошлый раз, а говорил, словно боялся зубы разжать.

— Ну-с, дорогуша, не миновать тебе какого-нибудь рудника, точно говорю, не миновать! Там с тобой знаешь, что будет? Тебя под землю загонят, и ты оттуда уже не вылезешь! Я не я буду!

Я отвернулась. Нужно было чем-то занять руки и, став к нему спиной, я стала проверять автол в картере. В ту минуту я мечтала только об одном: чтобы мне уши залили воском.

Рядом со мной стоял серый, с землистым лицом человек, пытался заглянуть мне в глаза и, брызгая слюной, с наслаждением рисовал картинку моего будущего:

— Сначала твои косы красивые повылезут, потом зубы выпадут, глаза станут бесцветные, будешь ты все страшная, морщинистая, как старуха, почище концлагерных, ясно тебе?

Я обернулась к нему. Он смотрел мне прямо в глаза, как замороженный, и продолжал говорить что-то, раскачиваясь на месте. Глаза его застекленели.

«Надо вспомнить что-нибудь хорошее», — подумала я. Но в голову ничего не приходило, и я не могла заставить себя оторвать взгляд от коменданта. «Ночью вывезли из дома на подводах до станции... переселение... скотные вагоны... железные решетки высоко на маленьких окнах... мы сидим на своих вещах... ворота с прочным замком... мы едем... днем стоим у маленького водоема... не радуйся жизни, не будь легкомысленной... как будто по голове ударило... не летай в облаках... забудь обо всем... думай о плохом...»

— Да мы тебе еще сопроводительное письмоцо чиркнем, хорошенькое такое, — прорвался из-за завесы голос коменданта, — вот и посмотрим, какая ты там станешь, я прямо специ-

ально приеду через полгодика на тебя посмотреть. — Он глянул вверх и застыл с открытым ртом, — глядя на нас сверху вниз, стоял на штурвальном мостике комбайна директор. Мне вдруг стало неудобно, что я стою, вцепившись, как в единственное спасение, в брошечку на кофте, подаренную когда-то давно тем, кого я больше не увижу. Стыдно было, что я такая беспомощная и безъязыкая, даже не могу ничего сказать в ответ.

Директор переводил взгляд с меня на коменданта. Тот побледнел и затрясся еще сильнее, как будто кости у него внутри все разошлись.

— Поехали, — сказали одновременно и директор, и комендант, но сказали с интонацией совершенно разной: первый — со спокойной угрозой, мерзкий старикан — отчаянно заполняя молчание.

— Карина, — обратился ко мне Виктор Матвеевич, — надеюсь, тебе будет интересно узнать, что свой рассказ уважаемый комендант продолжит уже совсем в другом месте, где его, несомненно, выслушают с огромным интересом. Все в порядке?

Я кивнула.

— Тогда мы уже поедem. До свидания, Карина.

## Венорезка

*Я НИКОГДА не резала вены.*

А думаю, хотя бы раз это следовало сделать.

Когда-то я снималась в одном видеоролике, который хорошо врезался мне в память:

*22nd CENTURY FOX*

*presents*

*PANASONIC YOUTH FOR SUICIDE*

Черные декорации.

Черный потолок, черные стены, черный пол. Красная река — из ниоткуда в никуда, наверное, так выглядит Река Забвения для самоубийц. Кануть в Лету для этой социальной категории... слишком просто! А вот в такой поток — в самый раз. Что-то наподобие: надеть белое платье, закрыться в ванной, набрать горячей воды и чиркнуть лезвием по рукам — под водой. А потом проснуться и понять, что все оставшееся время до Страшного суда проведешь в той же самой ванной, только побольше, барахтаясь в собственной крови.

Выглядит здорово, честно. В жизни не видела такой гадости.

А на самом деле это просто маленькая комната, наполовину завешанная полотнами из черного шелка. Меня уже четвертый час валяют по холодному полу, заставляя лечь то так, то по-другому, повернуться, встать, облокотиться на специально для этого жеста принесенную барную стойку, вылить на платье красную краску, надеть другое, такое же платье, но без краски, поправить грим, сменить гриндерсы на вампирские туфли, улыбнуться, изобразить отсутствие эмоций, встать прямо, опереться рукой о бедро, обворожительно улыбнуться, улыбнуться еще более обворожительно, наконец, улыбнуться так обворожительно, как только можно, и еще более обворожительно.

Я послушно улыбаюсь в объектив. Эти обворожительность и красота — красота девушки, держащей за спиной пистолет, обмотанный в два ряда тройным жемчужным ожерельем — чистый Hollywood! — девушки, всегда имеющей за кружевной резинкой чулка лезвие, а на поясе — намыленную веревку, всю в стразах, — наверное, такой больше давиться. Это красота момента, который больше не повторится. Это красота на один раз: она есть, но ее больше не будет. Мерзость. Но, в конце концов, это не более чем маленькая — во всех смыслах — игра.

— Стоп! — кричит режиссер.

Все отскакивают в сторону.

— Чертовы сценаристы! — орет он. — Такого не может быть! Какого \*\*\* она улыбается? А ну перестань!

Я послушно перестаю улыбаться. Все сразу начинают суетиться, бегать, что-то говорить друг другу.

Сценарий срочно переписывают, меня гримируют снова, камера, мотор...

На этот раз полагается изображать вселенскую печаль — что ж, это несложно. Лениво делаю вид, что лениво не смотрю в камеру, а сама думаю о том, успеем ли мы управиться хотя бы к половине восьмого или нет. Если успеем — значит, я опоздаю в кино не больше чем на пятнадцать минут и еще пойму, о чем фильм. Если нет — мне придется сидеть в пустом баре кинотеатра, рисовать ложечкой грустные смайлы на столе и ждать, пока Айс, Зимняя и Лиций досмотрят «Ифигению в Авлиде» без меня.

— Стоп! Снято! — не уверена, что так говорят на самом деле, но поверим MTV. Пусть будет...

... — Кому сказал! Стоп! Снято! Снято, я говорю! Снято, черт вас всех подери!

Все снова отскакивают в сторону...

Наконец, смонтировано приличное видео. Выглядит оно примерно так:

Я лежу на полу с отсутствующим видом. Довольно мило. Достоверно. Неплохо смотрится. Вся необходимая бутафорика соблюдена.

Низкий и вполне себе таинственный голос за кадром:

*WHY HASN'T THIS GIRL  
COMMITTED SUICIDE?*<sup>1</sup>

Я поворачиваю голову, приближенный план — я смотрю прямо в объектив. Техническая вселенская печаль. Фокус камеры въедается в глаза, растворяется в них, выныривает откуда-то из стены и снова устремляется на меня.

Голос:

*SHE'S TOO STRONG*<sup>2</sup>.

Голос объясняет тезис. Я поднимаю глаза с решительным видом.

*SHE'S TOO WEAK*<sup>3</sup>.

Я опускаю глаза. Голос продолжает бубнить.

*Я чувствую неприятное покалывание в пальцах. Что-то знакомое настойчиво бьется в мозгу, я уже не слушаю текст.*

*SHE SIMPLY KNOWS WHAT SHE WANTS*<sup>4</sup>.

Все, правильно, синтез. Я должна знать, чего я хочу, а я не хочу барахтаться в своей крови, я вообще хочу поскорее покончить с этим роликком, вызвать такси и поехать в кино.

*KILL YOURSELF IF YOU REALLY WANT IT*<sup>5</sup>.

*RIGHT NOW*<sup>6</sup>.

*START DOING ANYTHING*<sup>7</sup>.

*RIGHT NOW.*

## Зима 1943—1944 года

**СЕДЬМОГО** ноября 1943 года мне исполнилось восемнадцать лет. Это был как раз тот год, когда я жила в Карасу, и за это небольшое время многое изменилось — или изменилась я сама?

После той истории с комендантом я как будто приобрела закалку от обид и насмешек. Перестала обращать внимание на упреки в свою сторону и обвинения в том, что, дескать, немцы

<sup>1</sup> Почему эта девушка не покончила жизнь самоубийством? (англ.)

<sup>2</sup> Она слишком сильна (англ.).

<sup>3</sup> Она слишком слаба (англ.).

<sup>4</sup> Просто она знает, чего хочет (англ.).

<sup>5</sup> Убей себя, если правда этого хочешь (англ.).

<sup>6</sup> Прямо сейчас (англ.).

<sup>7</sup> Начни что-нибудь делать (англ.).

войну затеяли, так и я тоже в этом виновата. Я обзавелась толстой кожей и стала жестче, и тоску я лечила работой, работой, работой... Я уже не так часто вспоминала Маршановку, где жила мама с сестрами, не думала по ночам о том, как там сейчас Рената и Сабина. Все реже и реже снились мне по-вечернему уютные классные комнаты в Куриловке, и даже о нем... нет, о нем я не стала реже думать. О нем я вообще не думала, запретив себе это раз и навсегда.

Однажды, когда я возилась с запчастями на складе, мне показалось, что через окно я увидела знакомую фигуру. Не успела я еще понять, кто это был, как сердце уже само застучало в груди. Он шел через двор своей обычной, уверенной походкой прямо к двери склада. На крыльце послышались шаги, и я спряталась за ближайшую грудку коробок, чтобы первой увидеть Его. Внутри все ныло, я не могла понять, каким образом он оказался здесь, но я подумала, что, наверное, для него нет ничего невозможного. Он ведь мог приехать сюда, ко мне?

— Здравствуй, тетя Надя! — какой-то незнакомый молодой человек, совсем непохожий на него, с шумом распахнул дверь.

Это был не он. Я смотрела на этого парня издали, до крови прикусив губу, думала — неужели, что люди умирают от любви. Неужели, что люди совершают глупые поступки. Неужели, что влюбленный человек может приехать за сотни, тысячи километров, чтобы хоть одним глазом увидеть восемнадцатилетнюю девушку, думающую о нем днями и ночами.

— Мог бы и приехать, — сердилась я, пиная какую-то коробку. — В конце концов, он не мальчик, а молодой мужчина, что ему стоит сесть на поезд и... — Было стыдно за себя, но ярость цепко охватила меня, и я уже не могла остановиться. — В конце концов, одно письмо за месяц — куда это годится!

Я принялась перетаскивать коробки из угла в угол в поиске нужных мне деталей и, с шумом ставя их друг на друга, продолжала говорить сама с собой.

— Карина, ты чего там возмущаешься?

— Ничего, ничего, тетя Надя, извините. Я просто стихи повторяю, тренирую память.

— А, ну тогда ладно, это дело хорошее.

Той ночью я не могла заснуть. Лежала в постели, зажав в ладонях его брошку. Мне было стыдно: и за то, что я позволила себе так плохо думать о Нем, и за то, что я приписала ему поступки и мысли, которых у него, наверное, отродясь не было. И самое главное — я понимала, что придумала себе о нем не только плохое, но и

хорошее. Наверное, впервые за все это время я увидела, как на карте, что нас разделяет. Глупо было думать про поезд — никакой поезд сюда не мог прийти. И может быть, он уже давно понял то, что мне пришло в голову только сегодня, и забыл меня, вспоминая лишь для того, чтобы написать еще одно письмо.

Я не разлюбила его, я знаю точно. Просто я замерзла. Изнутри. Мне нужно было оторвать от себя все, что не давало мне жить новой жизнью, новым миром вокруг меня. И я заставила себя перестать думать о прошлом.

Первые несколько месяцев я жила словно на автомате. Просыпалась рано утром, работала, по звонку шла на завтрак, обед, ужин, отдыхала, снова работала, читала, спала — все это повторялось изо дня в день. А потом я с удивлением поняла, что все это — все, что я делаю, — мне нравится. Я стала забывать его.

Весной я работала на гусеничном тракторе. До сих пор помню свою первую машину — с надписью «Челябинский тракторный завод» — он, как и все заводы сельхозтехники, в те годы работал только «на войну», поэтому мы работали на старых, дышащих на ладан машинах, которые сами ремонтировали запчастями из утиля.

Летом я работала на ремонте комбайнов. Осенью — косила, дальше, ближе к зиме — молотила скирды. Потом — автотракторный парк — снова ремонт техники, только теперь в холодных цехах.

Особенно неприятно было мыть детали в холодном бензине без перчаток. За такой работой меня однажды застала та самая тетя Надя, заведующая складом.

— Твои красивые ручки целовать надо, а у тебя они в мазуте и бензине! — ахнула она. — Лучше пойдешь в обоз. Тулуп и теплая одежда у тебя есть, будешь целый день на санях кататься. Ну, конечно, нагружать мешки пшеницей придется.

— А меня отпустят? — спросила я.

— Попробую-ка я это уладить, — ответила тетя Надя. Вечером она нашла меня и сказала:

— Ну, будешь теперь в обозе.

На другое утро я уже насыпала пшеницу в мешки и помогала укладывать их на сани, аккуратно застеленные сеном. Всего нас было человек восемь-десять, на каждого — двое саней, запряженных парой быков. Ездить нужно было до станции Кай-Багор: три дня туда — три обратно. Ночью мы останавливались на заезжем дворе.

Я была тепло одета: хорошие валенки, телогрейка, мужская шапка, теплые самодельные рукавицы и мужской же тулуп, чуть-чуть не до-

стающий до земли. Рукава тулупа я заворачивала наружу, а воротник был высокий, закрывал почти всю голову. Закутавшись в тулуп, чудесно было лежать на санях и наблюдать за тем, как пробегают мимо деревья, дома, телеграфные столбы...

Но и в работе в обозе было свои сложности. Перво-наперво нам приходилось таскать тяжелые, по шестьдесят-семьдесят килограммов, мешки с пшеницей, и укладывать их на телеги. Такой мешок двое взрослых мужчин и то не без труда поднимали, не говоря уже о слабенькой восемнадцатилетней девчонке. Но с этим мы разобрались, меня поставили в пару с одним парнем, тоже невысоким ростом, но сильным и в обозе бывшим уже больше года; с ним мы очень хорошо сработались.

Ночью, на постоялом дворе, мы устанавливали очередь дежурств: по два часа каждый. Дежурный должен был сидеть на санях и следить за мешками с пшеницей. Чтобы не заснуть, мы обычно вполголоса напевали какие-нибудь песенки.

Дежурить было страшновато. Если где-нибудь раздавались шаги, я сразу повышала голос и делала вид, что с кем-то разговариваю.

Однако однажды утром я проснулась от шумного разговора. В ту ночь я дежурила первой, после меня заступил Майер, тоже немец, чудом избежавший трудармии. Отстояв два часа, он разбудил Нину, двадцатилетнюю девушку, тоже трудармейскую, сбежавшую в наш совхоз.

Нина мне не очень нравилась: вначале я работала с ней в паре, но потом попросила поставить меня с кем-нибудь другим, сославшись на то, что Нина слишком высокая, и мне с ней неудобно носить мешки. На самом деле Нина хитрила и отлынивала от работы: когда мы носили мешки, сцепив руки, она держала руку подле себя, и весь вес доставался мне; вообще, она была очень ленивая. Частенько просыпала время подъема, или, например, когда мы вели быков на водопой, начинала у саней возиться, мешки поправлять — лишь бы что-то делать. Когда мы приводили быков обратно, она выпрямлялась, вздыхала, словно запыхавшись от тяжелой работы, и шла со всеми к завтраку. Потом, пока мы быков запрягали, мешки поправляли, пока то да се, Нина таинственно исчезала.

Майер, отстояв два часа, разбудил Нину и лег спать. Утром дедушка Берлет, проснувшись, удивился, что Нина его не разбудила, и решил, что она все еще караулит мешки. Нину он нашел спящей, пшеницу, к счастью, нетронутой. Зато исчезло сено — быков кормить было нечем. Нина доказывала, что ее никто не будил, но

все почему-то поверили Майеру: не мог ведь он лечь спать, не передав дежурство следующему! Нина оскорбилась и, усевшись в углу, задремала. Внимания на нее никто не обращал: были заботы и посерьезнее. Решено было сделать так: мешки с двух моих саней разбросали, каждый взял себе по два. С одних саней мне дали сено, с других забрали — тоже каждый взял понемногу. Договорились, что на каждом постоялом дворе будут брать немного сена. Меня же с двумя пустыми санями отправили домой.

Утро было пасмурное, ветренное, шел снег. Меня это не смущало — я была тепло одета, ехала домой. Когда я выехала из села и оглянулась, то уже ничего не увидела — замело снегом. В степи был буран. Через какое-то время растегнулась упряжь, и быки со вторых саней отцепились от моих саней. Я остановила сани и пошла назад за теми быками. Иду за ними, а передние пошли сами — чуть видны. Словом, пока я собрала обе пары вместе, прицепила их хорошо к саням, то оказалась в степи, в снегу, в степи, без дороги. Я взяла передних быков за повод и пошла искать дорогу.

— Она должна быть где-то совсем близко, я ведь недалеко отошла. Да и село тут близко, ничего, не потеряюсь, — успокаивала я себя.

Я шла вперед, направо, потом налево, назад, снова вперед. Ни дороги, ни села... Я одна — в степи... Вокруг — только снег, куда ни посмотри — под ногами — снег, над головой — снег... Буран разыгрался не на шутку: все кругом свистело, гудело.

Стоять на месте было нельзя — холодало. Я села поудобнее на сани и погнала быков куда глаза глядят. Лучше я ничего не могла придумать. Поехали туда, куда ветер дул.

Так прошел целый день. Замерзнуть я уже не боялась — наоборот, стало жарко. Я боялась волков.

Часто рассказывали истории о том, как в степи волки нападают на людей. В буран в разведку идет один волк. Обнаружив хорошую добычу, он приводит за собой всю стаю. Один раз мне показалось, что сбоку мелькнуло черное пятно, — я быстрее погнала быков.

Стало темнеть. Я все ехала неизвестно куда. Вдруг что-то огромное полетело на меня, я испугалась, показалось, что на меня падает гора. Оказалось, мои быки уперлись ярмом в скирду сена. Я испугалась еще сильнее — около сена могли ведь и волки ютиться... Но тут я услышала голоса людей и, спрыгнув с саней, побежала туда, к ним, боясь, что они могут уйти. Но они уже и сами меня увидели. Это были несколько женщин. Я села на сани и поехала за ними.

Оказалось, что я ушла на двадцать два километра в сторону от дороги. Случайно я наехала на стог, из которого женщины брали сено. Будь я чуть подальше, они бы не заметили меня, и я могла проехать мимо и блуждать пятьсот километров, пока бы у меня не кончилась еда или я не встретила волков.

— Тебя спас твой ангел-хранитель, девочка, — сказала одна из женщин. Она сразу сказала всем, что забирает меня к себе домой. Мы с ней сели на мои сани, она управляла быками, а я сидела сзади. Стало очень холодно, меня колотило от мысли о том, что каких-то двадцать метров спасли мою жизнь.

— Сейчас уже приедем, — обернулась женщина.

— Спасибо, что взяли меня к себе, — сказала я.

— Да что там, брось ты это — благодарить, — ответила она, — побереги силы, а то еще упадешь, не дойдя до дома.

Совет был дельный: я и вправду уже чуть держалась на ногах. Пройдя в маленький домик, я села на скамейку и так и осталась там сидеть.

— Нужно встать и помочь хозяйке, а не сидеть тут, — ругала я себя мысленно, но сил подняться уже не было. Приятное тепло расплзлось по моему телу, я прислонилась к стене, глаза закрывались сами собой...

Вдруг передо мной появилась большая кружка, и знакомый уже мне голос произнес:

— Совсем замерзла, бедняжка? Отогревайся потихоньку. Меня Анна Петровна зовут. А тебя как? Да ты откуда же взялась, такая маленькая? Родители где? — женщина, наливая в кружку теплое молоко и нарезая большими ломтями черный хлеб, засыпала меня вопросами.

Я отвечала медленно, вопрос за вопросом, разглядывая маленькую, тесную кухоньку. Как хорошо здесь было после бескрайней степи, которая умирала в снегу!

— Меня зовут Карина. Я приехала из... Карасу... Родители мои... папа умер, а мама... в Маршановке...

— Карина? — женщина удивленно подняла брови. — Имя-то нерусское.

— А я не русская. Я немка.

— Немка? — как будто прохладно спросила она. — А ты почему тогда здесь?

Сразу стало неуютно. Я тихо ответила:

— Я ведь ни в чем виновата... Нас привезли сюда... Мы... Мы...

Я никогда, никогда не позволяла себе плакать, что бы ни случилось. Слишком глубоко во мне сидело чувство того, что *я одна* и не могу позволить себе опустить руки. Заплакать — зна-

чило сдаться и позволить относиться к себе с пренебрежением. Стали бы говорить: *эта* мало того что немка, так еще и хнычет.

А тут, в этой маленькой, жарко натопленной комнате, рядом с неизвестной женщиной с добрым лицом и добрым именем, я сдалась. Разве раньше не знала я, что теперь люди, услышав ужасное «немка», вдруг резко стараются свернуть разговор? Знала. Но сейчас, рядом с ней, еще не оправившись от пережитого страха, от мысли того, что чуть-чуть — и я могла умереть, заблудится в ужасной, вечной степи, потеряться в буран, — сейчас я не выдержала и расплакалась.

Анна Петровна всплеснула руками, неловко как-то, пододвинула ко мне кувшин с молоком, села рядом, обняла меня и сказала как-то очень просто:

— Ну, давай рассказывай. И плачь, если хочется, тебе выплакаться надо.

## Анна Петровна

**АННА ПЕТРОВНА** и ее муж — высокий, неразговорчивый мужчина, который исчезал рано утром, а возвращался вечером, на санях, принося в и без того тесный домик сугроб снега, — они сказали, что «слишком много для девочки» и что «надо хотя бы недельку пожить *в доме*».

И мне разрешили — невиданное, неслыханное дело! Я не поверила своим ушам, когда узнала, что директор совхоза, в котором я работала комбайнером, передал что-то вроде: «Правда, эта шестнадцатилетняя девочка работает, как взрослый мужчина. Да еще и чуть не потерялась в степи! Пусть отдохнет недельку-две. Потом наверстает, а не наверстает — как-нибудь поправим дело».

Я прожила у них почти две недели. Самые светлые две недели за те годы.

Я вставала рано утром вместе с Анной Петровной, помогала ей по хозяйству. Она часто хвалила меня, и эти простые, теплые слова были для меня радостны, как часть чего-то родного, часть дома и детства. Я рассказывала ей о том, как мы жили в Моргентау, она много говорила о своем сыне, который ушел на фронт. Это была удивительная женщина. За все дни до того, как ей пришло письмо с фронта, она ни разу не упомянула о том, с кем шла война, почему и за что. Она разговаривала со мной, как с дочерью, расспрашивала о семье, о маме, об отце и сестрах.

А потом наступил тот ужасный день, который я, наверное, за всю жизнь не смогу забыть. Я впервые в жизни не могла поднять глаза. Мне

было стыдно, стыдно за то, в чем я не была и не могла — быть виноватой, — но была.

Утро этого дня началось как обычно. До полудня мы переделали уйму дел, а около двенадцати кто-то громко постучал в дверь. Анна Петровна открыла. Почтальон.

— От Славика! — воскликнула она. Славиком звали ее сына.

— Заходите, заходите, — пригласила она почтальона, — мы вас напоим чаем перед дорогой да с собой кое-чего дадим, — улыбнулась она. — Сейчас вот только письмо прочитаю.

Почтальон, неловко повернувшись, не смотря на нее, протянул письмо. Анна Петровна радостно выхватила его, глянула и вдруг побледнела, оперлась на стену. Так бывает в фильмах: замедленная съемка, когда герой на экране как будто с трудом закрывает глаза и прижимает к груди конверт... Я подбежала к Анне Петровне, хотела помочь ей подняться...

У нее в руках был серый лист бумаги, свернутый треугольником. В таких треугольниках присылали похоронки...

— У, фашисты проклятые! — закричала Анна Петровна и заплакала, беззвучно, крупными слезами...

...Я замерла на месте.

Вечером, на той самой кухне, где сидела в самый первый день, замерзшая, испуганная, я тихо сказала Анне Петровне и ее мужу:

— Я поеду завтра... В совхоз. Пора уже.

— Поезжай, Кариночка, поезжай, — ответили они в один голос, не поднимая глаз...

## Диалоги

**Я НЕ УСПЕВАЮ**, мой телефон уже трещит. Опоздала больше чем на час, и вместо кинозала — бар на втором этаже, скучать в одиночестве, не спать.

Так — полтора часа в маленьком уютном кафе. Я слушала Элвиса Пресли. Бармен смешивал коктейли, закрыв глаза и подпевая: «Love me tender, love me sweet». Коктейли он делал мастерски, смотреть на него было редким и необычным удовольствием.

Из-за своего спрятанного в далеком углу столика я разглядывала людей: смеющихся, грустных, веселых, нахмуренных...

«Почему в моей жизни так мало спокойных и размеренных полос? Почему я всегда спешу куда-то, всегда тороплюсь, боюсь прибыть не вовремя, всегда решаю все на ходу?» — думала я. Так захотелось тихой и милой жизни, где все идет по плану, и от этого не становится менее

приятным и интересным, где на Новый год развешивают над камином красные матерчатые сапожки для подарков и каждый день случаются маленькие приятные сюрпризы.

— Ты чего на столе лежишь? Так сильно устала? — разбудили меня друзья, рассаживаясь по стульям.

— Сплю, — улыбнулась я. — Как фильм?

Им не понравилось.

— Understand. Мне бы тоже — нет?

— Absolutely.

— Вы уже собираетесь уезжать?

— Да, я уже спешу, — тихо, Айс.

— Я тоже, — говорит Зимняя, — мне надо к десяти успеть.

— А ты? — спрашиваю я у Лиция.

— Я — нет. Хочешь, останусь с тобой? — спрашивает он.

— Хочу — не могу заставить себя подняться. Нет позвоночника.

Лиций вызывает такси для Айс и Зимней. Они уходят, а мы с Лицием остаемся вдвоем.

Кстати, именно Лицию мы обязаны термином «Panasonic youth» — знайте.

— Как там панасоники? — спрашиваю я.

Он улыбается.

— Все также. В последний раз это была трехдневная тусовка из пятнадцати человек в трех пустых комнатах, кончилось чем-то вроде того, что «мы не знаем, чего мы хотим, но, безусловно, мы это можем». Когда-то я верил в это, ну а сейчас только трещина становится все шире и шире — split wide open.

— Знаешь, мы же вместе с Игорем составляли текст для ролика. Это так странно было — он сказал мне: «Представь, что ты проснулась после того, как умерла. Ходишь по улицам, стонешь от боли, а тебя никто не видит. Understand? А теперь опиши это». Это такое страшное, страшное ощущение, последняя ступенька одиночества, дальше уже некуда, дальше — бесконечность этого самого одиночества...

— А чем тебя так заинтересовали панасоники?

— Не знаю, вдруг... — улыбаюсь я.

— Any plans?

— Well... еще не знаю. Просто так. By the way... что ты думаешь о параллельных реальностях?

— Что ты имеешь в виду?

— Скажем, дежавю — может, это наши отрывки воспоминаний из другой жизни или параллельной реальности? Как ты думаешь? Наверняка, есть такая реальность, где все идет только так, как мы хотим. И сущность бытия там — не прямой угол, однозначно.

— А, тот разговор, — вспоминает Лиций полуночное висение в аське. — Что есть твоя сущность бытия?

Я молчу, потом, осторожно, подбирая слова по одному, отвечаю:

— Well... что-то вроде паутины... все нити ведут к одной точке, но расходятся далеко друг от друга. И... их пересекают другие нити, параллельные друг другу, таких тоже много, это даже не нити, а, скорее, замкнутые круги. То есть одни паутинки замкнутые. Другие исходят из одной точки и уходят в бесконечность. Они пересекаются под прямым углом, и он существует, этот прямой угол, но только как часть целого. Круги — архетипы, которые все замыкают и влияют на каждого. И бесконечность, все в мире бесконечно. Круги тоже бесконечны, но некоторые из них рвутся и начинают расти, виться спиралью. What about you?

— Мы всегда смотрим на все одинаково, — сказал Лиций.

## Волга-матушка

**ВОЗВРАЩЕНИЕ** на Родину, в Германию, оказалось совсем не таким ярким и праздничным, как когда-то мне виделось. Скорее, наоборот — это было скучно и серо. И тяжело. Долгие очереди, расспросы, антражи — документы, которые нужно было заполнять всем вновь приехавшим немцам. Тысячи историй, одна другой страшнее, о том, как складывались судьбы всех этих людей, решивших вернуться на Родину. Шел тысяча девятьсот девяносто первый год.

Приехав в Германию, я попала в лагерь — так называли места, где проверяли документы, распределяли по городам, — одним словом, лагерь был перевалочным пунктом между Германией и СССР. До лагеря мы еще были гражданами России, Казахстана, Украины — после него мы становились гражданами Германии.

Гражданами Германии — но не немцами. Это нам сразу дали понять.

Может быть, там, в России, мы и были *немцы*, то здесь, на Родине, мы моментально стали чужаками. *Русскими*.

— Понимаете ли вы меня? — спрашивала меня с ужасающим акцентом женщина, занимавшаяся распределением приехавших по языковым курсам. Она, как и мы, недавно приехала в Германию и изо всех сил старалась это скрыть. Когда я ответила ей на чистейшем немецком языке своих родителей, она поджала губы и отправила меня в подготовительную группу.

Преподавательница на курсах тоже была русской.

— Что вы, что вы! В Германии сейчас никто не говорит так, как вы! Это же устаревший язык! Нужно развивать в себе современный немецкий акцент, — говорила она не очень уверенно. Скоро я поняла, что и языком она владела не очень уверенно.

Меня распределили в Швайнфурт, тихий городок на севере Баварии. Русских здесь было много. Достаточно много для того, чтобы немецкое население города не слишком любило их.

Некоторые из соседей невзлюбили и меня.

— А правда, что многие немки в России выходили замуж за русских мужчин? — спросила меня как-то соседка из машины, смотрясь в боковое зеркало и подкрашивая губы коричневой помадой. Ей было около пятидесяти пяти, и она жила с молоденьким мальчиком-турком.

— Да. Так же, как и немецкие женщины выходят замуж за турков, — спокойно ответила я и, повернувшись, вошла в дом.

Мне было уже шестьдесят шесть, и начинать все заново было совсем непросто. Никогда не забуду одного момента, когда после лагеря я поехала в Берлин. Ходила одна по городу — без карты, без денег, без настроения. Я уже поняла, что вовсе не вернулась домой — просто приехала жить в Германию; и эта мысль была совсем нерадостной. Но были дети, внуки, они верили, ждали, надеялись. Я должна была вернуть им Родину.

Было в тот день темно, пасмурно, солнце спряталось за тучами, изредка лишь один-другой луч пробивался на землю. Я стояла на площади перед Ратушей, и вдруг до меня донеслось пение.

Пели по-русски:

Издалека долго  
Течет река Волга,  
Течет моя Волга —  
Конца и края нет...

Я живо обернулась. Это пели несколько человек, сидевшие на скамейке, с рюкзаками, уставшие, несчастные. Я подошла к ним послушать песню. Когда они допели, я спросила:

— Почему вы поете эту песню?

Они вздохнули, переглянулись. Один из них угрюмо сказал:

— Вы русская?

— Я немка. Но всю жизнь я прожила в Казахстане.

Они с удивлением посмотрели на меня. Один из них спросил, уже по-немецки, с интересом:

— А давно вы вернулись в Германию?

Они освободили место на скамейке, приглашая меня сесть.

Я постаралась коротко рассказать о своей жизни. Сказала, что родилась на Волге, что потом всю семью сослали в Казахстан. Что только месяц назад приехала в Германию.

Стоило мне только упомянуть Волгу, как лица этих пятерых людей словно осветились изнутри. Женщина, единственная среди них, в желтой футболке, тоже придвинулась поближе ко мне и сказала:

— И мы тоже с Волги, meine Liebe, мы тоже с Волги.

Мы очень долго разговаривали. Они рассказывали, что так же, как и я, родились на Волге. В семидесятые они — кто смог найти друг друга — вместе приехали в Германию. Но не смогли прижиться.

— Чужое, — качали они головой. — Чужие все.

Поэтому они общались только с теми, кого знали еще по той, старой жизни. Берлин им не нравился. Они даже хотели было вернуться назад — но куда?

Пока мы разговаривали, совсем стемнело. Я попрощалась с ними: пора было идти. Женщина — ее звали Ангелина — сказала мне:

— Помните, что здесь — не наш дом. Мы с вами — с Волги-матушки, как говорят в России.

Уходя, я слышала, как они снова запели тоскливо:

Волга, Волга, мать родная...

## Ноябрь 2004 года

**СО ВРЕМЕНИ ПОЕЗДКИ** в Берлин прошло уже три месяца, а я все не могла заставить себя сделать хоть что-нибудь: мне было страшно.

Страх бывает разным: мы боимся тысячи вещей; из них некоторых стоит бояться всем людям, других — только нам, третьи же мы просто придумали, и боимся мы их потому, что не знаем, стоит ли на самом деле подвергать себя слепому чувству отчаяния или нет. Мой страх был как раз их таких — слепых, и я это знала. Но перебороть себя не могла. Мне нужен был толчок, точка, которая бы закрыла от меня все то, что было до Берлина.

Нужно было, наконец, что-то сделать.

В один холодный день — седьмого ноября — я закрыла дверь за подругой и, усевшись на подоконнике с чашкой горячего кофе в замерзших руках, уставилась в окно. Кажется, это уже было когда-то...

По ту сторону окна человек бросала палочки собаке; молодая женщина спешила к остановке, ведя за собой карапуза в желтой шапочке; около горки толпилась малышня. Я сидела и бесцельно смотрела в окно, автоматически отмечая все, что там происходило.

— Если бы ты мог мне помочь, — обратилась я непонятно к кому. — Но ты не можешь... тогда сиди и слушай. Или сиди и молчи.

Потянулась было к телефону — остановила себя. Как рассказать другому о том, чего я сама не понимаю?

— Привет. Как дела? Слушай, мне кажется, мне пора умереть.

Отбросив всякую мысль о такого рода откровении, я оделась, бросила в сумку свой блокнот, ручку и вышла на улицу. Все лучше, чем сидеть дома.

Выйдя на улицу, я освободила мысли от ограничивавших их стен, и теперь мое воображение пустилось в свободное плавание. Надо было, надо было понять, что происходит со мной.

Я села на скамейку и достала из сумки дневник.

## Две страницы

*«ЧЕЛОВЕК ТАК устроен: если в него выстрелить, польется кровь».*

*Зачем мы ведем дневники? Наверное, с тех самых пор, как кому-то пришло в голову поместить свои переживания на лист бумаги, люди задаются этим вопросом, и я — не более чем миллиардное его повторение. Ничего нового, в сущности, нет — и не будет, а все действительно важное было сказано еще в античности. Можно пытаться опровергнуть это, спорить, но нельзя не соглашаться в глубине души.*

*Не понимаю, зачем я пишу все это. Наверное, эти глупости, как будто важные сейчас, — не более чем защитная реакция организма. Не думать о том, что пугает. Не думать о том, о чем нужно бы, но... нет, как ни крути, как ни крутись — не выберешься ты из этого чертового лабиринта...*

*...Занимательно попасть на место человека, чувствующего, что он сходит с ума. Не могу сказать, что мне это показалось приятным. Физическая сторона вопроса: ледяные руки, ритмичные удары кувалдой в висках, кружится голова. Трудно дышать. Размытые очертания предметов, звуки доносятся издалека. Холодно, потом жарко, снова холодно. Прислоняешься к стене и закрываешь глаза: так легче.*

*— Выключите, пожалуйста, свет.*

*Это немного похоже на око тайфуна: отма- тываешь пленку назад и мощным ударом разума пытаешься объяснить себе, что все в порядке, это не более чем плод воспаленного воображения.*

*На сем моменте я сбиваюсь, и раздвоившийся образ вновь начинает с бешеной силой кружить- ся вокруг меня. Музыка Грига. Сумасшедший карнавал, бал-маскарад.*

— Оля? Легси? Карина?

*Пока я, закрыв глаза, держалась за холодную поверхность стены, как за последнюю опору, свет уже давно загорелся. Немного успокаива- юсь, вдыхаю воздух почти глубоко, почти полной грудью, убеждаю себя, что все если и не в поряд- ке, то хотя бы меня не касается, и тут...*

— Легси?

*От неожиданности я чуть не спрыгиваю со стула, но вовремя успеваю взять себя под конт- роль, прикусываю губу, чтобы не закричать. Сцепив пальцы в замок, оборачиваюсь. Мне зада- ют вопрос, я отвечаю.*

*Защелкнув замок на двери, падаю на кровать и обхватываю голову руками.*

*Трещат виски, и затылок раскалывается. Каждое движение отдается болью в глазах, в зу- бах, губах, снова в глазах.*

*Мои предложения стали длинными и сухими, мои мысли — короткими и раскаленными. Я рас- калена. Окружающий мир воспринимается как стилизация. Я не могу заставить себя сделать это, я так хочу, так надо, думаю, так надо.*

Ты — для себя и... для себя.

Я...

*Боюсь разочаровать себя, тебя.*

*Тебя в себе, тебе. Себя во мне, тебе.*

*Хорошо, что ты об этом не думаешь: так у тебя больше шансов не свернуть с выбранной тропы.*

*Не верю тебе, себе, ей, ему. Сложное — про- сто. Это гордиев узел, не более.*

*...Снова и снова, сама не понимаю. И я. И эти сны, это героическое прошлое, которое частя- ми — героическое, а частями — будто бы геро- ическое. Есть что-то другое, чего я не вижу, но как будто чувствую, могу потрогать. Есть де- вочка Карина, которая так похожа на меня и которая, наверное, ждет, чтобы я, наконец, хоть что-то сделала. Пора, пора, пора, не молчи.*

Жаль, что...

*«Человек так устроен: если в него выстре- лить, польется кровь».*

*Самоубийство — грех. А смерть — тоже грех?*

*А если не хочешь, но умираешь — это грех? А если не хочешь, но приходится — грех?*

*Наваждение какое-то — этот страх.*

*Нет, нет. Все просто. Все так просто, что не бывает. Око за око — так.*

*Ифигения в Авлиде. Во имя чего — она?*

*Во имя чего — я?*

*Есть девочка Карина. И она ждет, чтобы я хоть что-то сделала.*

*Карина — это я. Спираль идет на новый ви- ток... ты скажешь об этом Лиццо?*

*Нужно ли учиться тому, как говорить «про- щай»? Но я прощаться ни с кем не буду.*

*Вот, здесь: прощайте.*

*Человек так устроен».*

*Это как на исповеди. Это как на приеме у психолога. Это просто не оставить себе ничего, кроме одного решения. Это как *sim tacent, clamant*.*

*Все, все упирается в прошлое. Ведь я пра- вильно поняла намеки?*

## Возвращение

**В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ** я снова увиделась с ба- бушкой. Она осуществила свою мечту: отправи- лась в Нестеровку, в надежде найти место, где родилась. После этой поездки она и приехала к нам.

Ома выглядела очень огорченной. Она под- робно рассказала о том, как и куда они ездили — с ней был старший сын, мой дядя.

Сначала — несколько дней пути: самолет, по- езд, автобус, машина. Потом — долгие поиски.

По приметам, что бабушка помнила еще с де- тства, они только примерно определили место, где мог стоять дом, в котором родилась бабуш- ка, в котором родилась ее мама, в котором жили многие поколения до них. Нестеровка уже сла- бо напоминала Моргентау; правильное даже сказать, совсем не напоминала Моргентау.

Несколько дней они бродили по селу, вокруг села, вызывая удивление местных жителей: что могут делать здесь прилично одетый мужчина, явно горожанин, и совсем уж чужеземного вида пожилая женщина? Да еще и говорили эти двое между собой на немецком... Чудеса, да и только!

Наконец, через несколько дней поисков, ба- бушка узнала четыре дерева, которые образовы- вали почти правильной формы квадрат. Они не- сколько раз уже бывали на том месте, но бабуш- ка никак не могла его вспомнить, потому что она представляла этот квадрат еще по-детски огромным. Теперь же она могла измерить его считанными шагами.

Это были те самые деревья, на которые она забиралась в детстве, играя в прятки с сестра-

ми, деревья, где, держа на коленях тетрадь, она писала школьные сочинения. Я помню, что бабушка рассказывала мне, как написала однажды в школе такое сочинение: девочка сидит на длинной ветке дерева, откидывающего тень на веранду ее дома, и видит, как сменяются времена года, как летом по двору бегают дети, играя в лапту, как наступает осень и забрасывает их багряными листьями с золотыми прожилками, как зима покрывает реку льдом, и те же ребята бегают по льду на коньках; весной на дереве снова зеленеет листва; а она сидит на дереве и наблюдает за всем, что происходит вокруг...

Когда Ома писала это, ей было тринадцать лет, она жила уже не в Моргентау, а в Орлово-Гае, до этого успев переменить несколько городов и сел; но именно это воспоминание запало бабушке в душу. Думаю, поэтому-то она запомнила так хорошо приметку — четыре дерева.

И вот теперь под их ногами была та земля, где родилась моя Ома Карина. Пока они искали этот кусочек родного, они не обращали внимания на сор, лом, кирпичи, бетонные плиты, которые со времен еще Второй мировой громоздились здесь и которые потихоньку разбирали домовитые крестьяне. Теперь же все это бросилось им в глаза. Серая плита навалилась прямо на ствол одного из деревьев; оно, как сломанный бокал, покосилось, наклонилось, почти касаясь ветвями земли.

Дядя сказал, что бабушка попросила оставить ее одну — ненадолго. Но больше часа она ходила по обломкам того, что некогда было ее домом, и шептала про себя какие-то слова.

На фоне уходящего солнца она стояла, прислонившись к дереву, смотрела вдаль и вместе с тем — в никуда.

Потом она проходит между завалами строительного мусора, бревен, веток, железяк, кирпичей — молча, тихо. Останавливается, что-то шепчет про себя. И — снова делает несколько шагов — так же тихо, как будто она здесь — чужая, как будто она — проникла тайком на чужую землю. На глазах у нее слезы.

Так я представляла себе сцену прощания Омы Карины со своим домом.

Почему прощания? Я ведь никогда не узнаю, о чем говорила бабушка, с кем она говорила. Но мне кажется, не так сложно об этом догадаться. Обломки. Разруха. Большие деревья детства, ставшие вдруг маленькими, старенькими. Да, она прощалась: больше она там уже не побывает. Дорога назад — закрыта. И вместе с тем — ее и не оказалось-то на самом деле, этой дороги в прошлое. Кто-то истоптал ее, смешал с пылью и

кровью, прошелся тяжелыми сапогами по тропинке, которая вела в прошлое.

Мне жаль, что у тебя нет Родины, моя родная.

Я так хочу хоть что-нибудь сделать для тебя...

## Хэппи-энд

**КАК-ТО НА ГРАНИ** вечера и ночи, за «Игрой в бисер», я вдруг понимаю, что надо идти. Куда именно — не знаю. Но прямо сейчас, не задерживаясь ни на секунду, не думая, не сомневаясь.

На часах — одиннадцать-сорок шесть.

В метро людей мало, но, как всегда, вечером здесь странно; странно-неприятно: вспоминаю мальчика-хорька.

Я знаю, что, выйдя из метро, сверну направо и долго буду идти по едва освещенной улице, пока не дойду до дома, в который мне захочется войти. Предвкушение этого наполняет меня уютным чувством радости, смешанной с легким волнением. Я улыбаюсь сама себе.

В переходе женщина поет незнакомую песню. Я кладу в ее шляпу-котелок монетку и остававливаю на секунду.

Она поет, кажется, не вполне хорошо; но ее пение чем-то трогает. Звонкий, чуть надтреснутый голос взлетает к потолку — и, чуть не коснувшись его, камнем падает вниз.

Я выхожу из метро. Смотрю на часы.

Так или иначе, но теперь действительно — пора.

Ноги сами меня несут куда-то.

Узкая улица. Вспоминаю вдруг, что когда-то я часто бывала здесь. Тогда, залитые солнцем, эти дома, эти окна, эти фонарные столбы казались совсем другими. Тогда, давным-давно, я три раза в неделю приезжала сюда на курсы актерского мастерства. Тогда около метро меня всегда ждал Лиций. Но теперь его не было со мной.

Мне, кажется, не так уже много жить?

Пришло время. В меня уже проникла эта мысль, незаметно для меня разлетелась по телу, обвилась браслетами на запястьях и подсказывает, что делать.

Я же на самом деле это знаю, давно знаю. Что это не я живу, а мысль в моем обличье. Она говорит за меня, я суть ничто.

Знобит от холода, от волнения.

Проходя мимо своего бывшего театра, с удивлением вижу, что дверь приоткрыта. Кто-то забыл закрыть? Я быстро приоткрываю дверь и проскальзываю вовнутрь.

На цыпочках. Сторож спит. Я снимаю ключи от большого зала и тихо-тихо поднимаюсь по лестнице. Мельком бросаю взгляд на листовку на стене: сегодня вечером, оказывается, была «Ифигения».

Три лестничных пролета — как три века, и мне кажется, что мои шаги отзываются так громко, что и с улицы слышно, что сейчас уж точно проснется сторож.

Все, быстро открываю и закрываю изнутри на ключ дверь большого зала.

Ключ подрагивает в руках.

Здесь ничего не изменилось за то время, что меня не было. На стенах — так же странно: Шекспир, Станиславский и Высоцкий. Между креслами пробегают потрепанные бордовые дорожки. И сцена — по-прежнему ободрана, по-прежнему за декорациями неприглядные секреты.

В этом зале, чаще всего полупустом, мы ставили отчетные спектакли. Первой ролью, которая мне досталась, была Офелия в «Гамлете». Помню, как волновалась перед началом спектакля. Я боялась, что выйду на сцену и у меня подкосятся колени или я забуду свои слова. Я всегда волновалась перед спектаклями.

Волнуюсь я и сейчас.

Быстро прохожу между рядами потертых кресел. Будь у меня время, я бы остановилась, попыталась запомнить, что и как выглядело здесь. Но я боюсь даже на минуту задержаться, поэтому просто пробегаю между рядами. Падаю прямо на пол перед сценой.

Внизу зашумели. Сердце вот-вот пробьет грудную клетку.

Раз — и вправду пробивает.

Пробивает.

У меня в груди дыра.

Из нее выскакивает подпрыгивающий комок и увеличивается, расползается, принимает форму этих стен, этой комнаты. Теперь весь этот зал — мое сердце. Теперь не оно находится внутри меня, а я внутри него. Оно бьется со всех сторон, из каждой стены, в каждом стуле, в не убранных со сцены декорациях.

Я чувствую гордость — каким большим стало мое сердце! И раз все так, значит, я правильно пришла. Не слышно ли чего снизу?

Кажется нет.

Тишина. Сколько времени уже прошло?

Я так и сижу, скрестив ноги, на полу перед сценой; темнота обволакивает меня. Потом потихоньку рассеивается. Декорации остались на сцене после спектакля. Жертвенный камень, доспехи, веревки, деревья.

Еще немножко тяну время, отдыхаю в эти бесконечные секунды. Я почти готова.

Сняв обувь, подхожу к окну и аккуратно открываю его — миллиметр за миллиметром — окно старое, пыльное, давным-давно не крашенное — оно так скрипит, что сердце снова начинает сильнее биться в стенах со всех сторон; рассеиваюсь по залу, я становлюсь всем, всем, каждой пылинкой, даже тем самым окном, которое, наконец, приоткрылось.

Дикая, вакхическая радость охватывает меня, и я хочу петь, танцевать, позабыв про осторожность. Сердце по-прежнему лихорадочно бьется со всех сторон, предупреждая, что затягивать уже нельзя. Скоро, скоро, скоро!!!

Я здесь! Veni! Я пришла! Vidi! Я нашла! Vici!

И — все-таки — я прощаюсь — про себя — долго и исступленно, словно в агонии. Я называю имена, говорю что-то, чего не успела в жизни, признаюсь в...

...Лежа на этом камне, где еще накануне вечером билась в судорогах Ифигения, считаю про себя:

— Один. Два. Три. Четыре. Пять...

Надо мной появляются шары — гладкие, белые, числом тридцать три. Я знаю, что их нужно уложить в треугольник. Я беру первый шар, ставлю его на место:

— Один.

— Два, — второй шар аккуратно ложится рядом с первым.

— Три. Четыре. Пять. Шесть.

Треугольник получается аккуратный, ровный; осталось всего два шара.

— Тридцать два... Тридцать три.

Вдруг все останавливается, замирает; медленно исчезает треугольник из шаров, откидывается моя рука, ничего не слышу, не видно...

Как будто время свернулось в клубок...

Как будто время свернулось в клубок...

Как будто время свернулось в клубок...

...времявремявремясвернулосьвклубоклубоклубоклубок...

...эхо, эхо соскальзывает со стен...

...времявремявремясвернулосьвклубоклубоклубоклубок...

...тени, тени пляшут по стенам...

...времявремявремясвернулосьвклубоклубоклубоклубок...

Я нигде. В пустоте. В темном, плотном пространстве.

— Я думала, что это будет похоже на лабиринт, — говорю я вслух — и сразу появляются стены, двери, коридоры, светлеет.

Наткнулась на дверь, открыла. Там снова коридор, на полу зеленая вода. Еще одна дверь. Пустая комната. Коридор. Дверь. Коридор с горячими полами. Дверь. Комната. На стене картина. Багровая, окровавленная картина. Я на ощупь шла по коридорам, сворачивала направо, потом налево, открывала двери, проходила через пустые комнаты, попадала в очередной коридор.

Так я бродила очень долго, удивляясь тому, что здесь и там появлялись вещи, тени людей, о которых я думала. Я видела родителей, Ому Карину, Айс, Зимнюю, Лиция, трогала их, целовала, но они не видели меня.

«Наверное, у этого лабиринта нет конца».

Одна из дверей исчезла. Я подергала за ручку другую — она была закрыта. Оставалось идти дальше по коридору.

...Сначала я медленно, осторожно делала шаг за шагом, боясь наткнуться на что-то, что будет еще страшнее, чем это беспомощное блуждание в неизвестности. Потом мне стало все равно, я рывком открывала двери, быстро проходила через комнаты, не смотря по сторонам. То вдруг меня подхватывал ураганный ветер, швырял на пол, то приходила в комнату, где из стен сочился березовый сок. Я устала...

Иногда шла по битому стеклу. Иногда — по песчаному пляжу, и волны смывали кровь со ступней. Потом песка не стало, волны убежали, и я снова пошла по паркету. Через открытую дверь я шагнула прямо в пылающую кузницу, подпалившую кончики волос, пробежала через нее и обнаружила на запястьях своих оковы.

— Только цепей мне не хватало, — неосторожно сказала я вслух, и почувствовала: прицепилась к ручникам огромная, толстая цепь.

— Это потому, что я подумала или вслух сказала?

Хотелось пить. Воды. Любой. Родничка какого-нибудь.

Из стены полилась вода. Я сложила руки ковшиком и зачерпнула воды

— Спасибо.

— Пожалуйста, — прозвучало с потолка.

— Я прямо как Алиса в Зазеркалье.

Передо мной появилось зеркало. Я увидела себя — всю в царапинах, в пыли, растрепанную, обезумевшую. По щеке бежала струйка крови; я вытерла ее рукавом. За моей спиной появилась еще одна фигура.

— Карина?

Она погладила меня по щеке.

— Я так устала...

— Еще чуть-чуть, Легси, еще чуть-чуть...

И дальше — снова пустота... Пустота и бесконечность. Битое стекло. Ветер. Вода. Ножи.

Ружья. Огонь. Длинные, бесконечные коридоры. Целая вечность из коридоров.

Но наконец, пришел момент, которого я так ждала: я дошла до комнаты, в которой не было уже ничего. Пустые стены, ни одного коридора, ни одной двери. Пустота. Я села, прислонившись к пустоте, и закрыла глаза. Теперь это должно начаться...

## Мир сошел с ума

**БУДУЩЕЕ МОГЛО БЫ** быть прекрасным.

Но люди раскололи наш фиолетовокрасный кубошар — то, что могло стать прекрасным. И мое будущее стало таким, какое есть. Оно не стало плохим. Но мы видим его под другим углом, и этот угол — совсем не то, что раньше. Призма искажения.

\* \* \*

Мне двадцать пять лет, и я работаю в суицидарии.

Меня зовут Ольга, хотя еще каких-то десять лет назад меня звали гораздо проще и красивее: Легси. Но эти десять лет вместили в себя такую резину воспоминаний и событий, что это все было как будто столетие назад.

Итак, я работаю в суицидарии.

И через восемь дней я подаю заявление об увольнении, иначе скоро сама же и стану его клиенткой.

Моя задача — встречать всех желающих покончить жизнь самоубийством, задавать им два контрольных вопроса и выдавать таблички для предсмертной надписи. Затем выделять им место в крытой или открытой зоне. За отдельную плату в офисе можно купить веревки, таблетки, ножи, отточенные карандаши и прочую чепуху, но это уже не в моей юрисдикции: я — топ-менеджер и лицо суицидарии, не более чем.

Я ненавижу эту работу! Ненавижу!

Она сводит меня с ума. Кажется, я пробовала уже все, что только можно было испробовать, но — суицидарий оказался сильнее меня. Здесь выживают либо божьи одуванчики, которые с улыбкой помогут выбрать веревку поудобнее, расскажут посетителям последний анекдот и обсудят с ними погоду. Либо мрачные поэты, бросающие на всех злобные взгляды исподлобья и сжимающие в руках блокноты с самыми едкими, точными и остроумными эпитафиями. Еще изредка можно встретить суховатых добродушных старушек, милых и исполнительных, но от того не менее странных: с ними невозмож-

но говорить. Они не понимают, что вы пытаетесь до них донести, они слушают — и слышат что-то совсем другое, свое.

Самыми естественными, человечными в суицидарии кажутся посетители. Они разные. Они проходят в офис, чуть стесняясь и застенчиво опуская глаза, говорят, что хотят покончить жизнь самоубийством. Они пинком открывают дверь и падают на кресло, закатывая глаза. Они незаметно просачиваются в комнату и пугают вас своим уничтожительным взглядом, когда вы случайно поднимаете на них взгляд. Они могут быть приятными и отталкивающими. Но они — живые, они не похожи друг на друга, и я люблю их за это.

В первые три дня у меня руки тряслись, когда я ставила подпись на их заявлениях. Потом привыкла. Работа — отвратительная. Но я дала себе слово, что продержусь хотя бы три месяца. Жаль, что не два, и совсем жаль, что не один.

...До конца рабочего дня осталось полчаса; уже радостно засуетились старушки, запели песни балагуры-шутники. Дверь приоткрылась, и за ней показался чей-то глаз, прикрытый трогательной детской челкой. Потом за моим столом появилось воздушное создание лет, наверное, четырнадцати, которое предъявило паспорт, подтверждающий минувшее совершеннолетие, и прошептало: несчастная любовь...

«Девочка, да оглянись же ты вокруг! Какая несчастная любовь! Да будет тебе скоро столько их, счастливых, что не будешь знать, куда отпрыгнуть, чтобы не разбить на кусочки еще чью-то надежду!

Хорошо, допустим, он тебя бросил. И ты его любишь, нет сомнений. Но если это так, то почему ты хочешь повесить на него грех ответственности за свою смерть? Хочешь, чтобы он всю жизнь мучился из-за того, что не увидел, не услышал, не сказал?

«Нелюбовь, дорогая моя, не любовь».

Но сказать все это вслух я не имею права, поэтому я произношу изжеванные контрольные фразы:

— Вы уверены, что хотите покончить жизнь самоубийством?

— Да.

— Нет ли кого-то, кто мог отговорить вас от самоубийства?

Девушка молчит. Мне кажется, она сейчас сломается — или заплачет, или спрыгнет со стула и убежит. Я тихо радуюсь. Но она дергает подбородком и выдавливает из себя:

— Нет.

Что ж, в таком случае осталась чистая формальность: стандартный, распечатанный в тыся-

чах экземпляров бланк, ее роспись и виноватый взгляд, брошенный мне напоследок. Я ловлю этот взгляд, этот кусочек льда. Часы бьют семь, я срываюсь с места и почти бегу к выходу.

Самое страшное место суицидария — дорога от офиса к выходу. Офис прячется в самой глубине парка, и каждый день мне приходится дважды вышагивать меж стройными рядами табличек и плит, аккуратно начищенных уборщиками. Утром путь кажется не таким страшным — солнце играет над головой, создает ощущение второй реальности, которая касается только тех, кто сам втягивается в нее. В семь часов все совсем по-другому. В семь уже темно, и каждый раз, идя к спасительной машине, я чувствую, как холодеют у меня руки, и пальцы становятся такими белыми, что ими можно освещать дорогу в темноте.

Ненавижу суицидарий! Ненавижу себя за то, что я решила и здесь получить долю чувств!

Каждый раз, приближаясь к выходу, я смотрю на новые таблички. Закусываю губу, чтобы не пнуть их ногой от злости и не заплакать от отчаяния:

«Меня бросил Вася».

«Игорь больше меня не любит».

«Он встречается с другой. Будьте счастливы, ребята».

«Ты виноват во всем».

«Среда заела».

«Достало».

Прохожу мимо двух могил, выкопанных совсем рядом друг с другом. Табличка на одной из них покосилась, того и гляди, упадет. Я, было, протягиваю руку, чтобы поправить покосившуюся табличку, но прочитываю надписи, и рука повисает в воздухе.

На первой табличке написано:

«Я обидела свою лучшую подругу».

На второй:

«Из-за меня моя лучшая подруга покончила жизнь самоубийством».

Кто-то невидимый резко ставит мне подножку, и я падаю, больно ударившись коленками и локтями. Уже не жалея белого костюма, я реву, вытирая слезы рукавами пиджака, ощупывая пальцами эти таблички, как будто в них есть ключ к разгадке всей этой глупости. Дрожащими руками я достаю из сумки телефон и звоню Айс.

— Пожалуйста...

Айс сейчас возглавляет кружок художников-космистов. На днях у нее открывается персональная выставка работ в Берлине. Поеду освещать и вспоминать *былое*.

Зимняя тоже приедет из Пекина. Сейчас она там переводит манифесты для городских сумас-

шедших и занимается легализацией флэшмоба. В Пекине она живет уже три года, лишь изредка приезжая в гости. Жизнь в отрыве и эмоциях идет ей только на пользу: в последний раз она вихрем спрыгнула со ступенек притормаживающего поезда, предварительно сбросив свой чемодан в виде арбуза, заливаясь смехом.

— Легси, Легси! Хей, Оля, я здесь!!! — кричала она, размахивая своей ковбойской шляпой с розовой вуалью и подпрыгивая на фиолетовых шпильках.

Лиций сейчас в Тибете. Быть может, он тоже приедет в Берлин, но я не уверена в этом.

Наверное, в скором времени я подарю кому-нибудь свой ресторан «Гурманы-извращенцы», откажусь от колонки в журнале и поставлю крест на разбросанных в пылище книжных магазинов книгах. Оставляю это все и тоже уеду. Хватит. Я получила свою часть чувств в этом мире, а больше мне и не нужно.

## Гордиев узел

**БЕРЛИН НИЧУТЬ** не изменился со времен моего семнадцатилетия.

Мы прилетели рано утром одним рейсом с Айс; Берлин все так же утопал во времени, черном кофе и серой погоде. Айс поспешила в выставочный зал, пообещав вернуться не позже завтра. В распоряжении моего одиночества был целый день. Зимняя должна была прилететь только послезавтра, а Лиций — уже завтра.

И чем больше я думала о нем, тем сильнее понимала, как хочу его увидеть.

Лиций уехал в Тибет шесть лет назад. В первый год от него почти не было вестей. Постепенно я отвыкала от него; скучала, но вспоминала почему-то все реже и реже. Мне было стыдно перед собой за то, что я словно бы забыла Лиция. Но, наверное, так я подсознательно приспособлялась, чтобы не грустить без него.

Через год он объявился — возвращаясь домой, я увидела его машину у своего дома, а в следующую секунду — его самого. Следующие три года он периодически давал о себе знать — то прилетал на пару дней, то звонил. Чем чаще я его видела, тем больше я по нему скучала: привыкала.

Потом он снова исчез. За два года пришло три-четыре письма.

И за несколько дней до моего отъезда в Берлин Лиций позвонил мне и сказал, что обязательно будет. Из голоса его можно было высечь искру.

Не помню уже точно, что я делала в тот день в Берлине.

Сначала позвонила бабушке. Это точно. Это я помню.

Долго разговаривала с ней — решено было, что я приеду после выставки.

Потом вышла на улицу. Где ходила — и ходила ли вообще; что видела — и видела ли что-нибудь — все как в тумане. Я была одна.

В своей сумке я неожиданно обнаружила старый дневник — тот, что вела еще в семнадцать лет. Я полистала его. Последняя запись была сделана именно в Берлине — тогда, когда мы вчетвером были здесь на *Wanderjahr*<sup>1</sup>. Что ж, еще одно совпадение.

Я нашла ручку и открыла чистую страницу.

*«Когда я в семнадцать лет вела этот дневник, моя жизнь была похожа на стакан воды, всегда наполненный до краев.»*

*Прошло восемь лет. И сейчас все зависит от дождя — наполнит ли он стакан так, что вода перельется через край — или стакан будет долго-долго стоять пустым на крыше высотки, ожидая дождя???*

*Последняя запись — я в Берлине. Новая запись — снова в Берлине. Пока еще одна, но это — приятное одиночество, одиночество предвкушения.*

*Чем чаще я открываю что-то новое для себя, тем реже мне приходится находить что-то еще — тем реже идет дождь, и тем он желанней.*

*Хочется и боязно попробовать на вкус понимание того, что ничего дальше тебя уже нет, мира нет, границ нет, только вязкая, очень плотная и осязаемая темнота.*

*Мотивы кругов. Круг действительно замыкается, доказательств это не требует. Круги замыкаются в сверхмировом пространстве, и все мы здесь очень даже при чем».*

— «Все мы здесь очень даже при чем», — повторяю я про себя, смотря себе под ноги, на остро вычерченные булыжники, которыми выложена площадка. Если попытаться найти среди них тропинку, то можно взглядом дойти до огромного старого дуба, который отбрасывает тень на все эти скамейки, наверное, ему лет сто, не меньше, то есть он в четыре раза старше меня и в...

— Наконец-то, — произнес голос за спиной. — Я все думала, догадаешься ты сейчас или нет.

Невысокая босая девушка в белом платье садится рядом со мной. Она, прищурившись,

<sup>1</sup> В Германии: год после окончания учебы, который принято посвящать путешествиям.

смотрит на меня со странной улыбкой. Ее лицо кажется мне очень знакомым.

Я молчу, пытаюсь вспомнить, где, когда я ее видела.

— Ты могла меня плохо запомнить. Ты видела меня в зеркале, — говорит она.

— В зеркале... — Я вспоминаю старое пыльное зеркало в номере гостиницы, где мы оставались тогда, в прошлый приезд. Карина... Сны... видения, которые вдруг резко прекратились после Берлина...

— Узнала, — робко улыбается Карина, отбрасывая назад челку, — если честно, я боялась — вдруг я изменилась за это время. Мы ведь давно с тобой не виделись.

— Нет, ты не изменилась, — отвечаю я. И в самом деле: все те же глаза, волосы, улыбка, взгляд. — Просто... я не знала, что ты есть на самом деле. А... ты, оказывается, есть.

— Как видишь. Оля, мне надо кое-кого тебе показать и многое рассказать. Пойдем.

Разговор кажется мне странным. Постепенно все предметы вокруг меня отдаляются, прячутся за пеленой тумана, и остается только скамейка, на которой сидим мы с Кариной...

Мы встаем со скамейки и куда-то идем. Становится холодно, как в давнишних снах про Карину, я зябко поеживаюсь, а Карине холод ни почем. Мы поворачиваем направо, потом еще раз, петляем так, что мне начинает казаться, что мы просто ходим по кругу. Дорога, по которой мы идем, если она, конечно, есть, вся в тумане, и сначала мне кажется, что вот-вот я могу оступиться и упасть; потом я просто перестаю смотреть под ноги — очень удобно.

Не знаю, сколько мы шли, но все же, по моему, не очень долго. Я все время разглядывала Карину. Никак не определишь, сколько ей лет — то ли семнадцать, то ли двадцать пять, то ли тридцать. Она выглядит как девчонка лет четырнадцати-пятнадцати, но ее выдает походка — уверенная в себе, полная спокойного достоинства. Она говорит очень живо, но голос у нее — спокойный и отстраненный. Такой бывал у молодых вдов, сидевших за моим столом в суицидарии.

— Карина, сколько тебе лет? — спрашиваю я. Она пожимает плечами:

— Сама не знаю, если честно. Очень хотела бы знать, на самом деле. Понимаешь, я — это идея многих-многих моих я — и тебя тоже, потому что ты — мое порождение. Поэтому каждый раз я разная. Но об этом мы еще поговорим. Смотри, мы почти пришли.

С удивлением вижу, что мы вдруг идем по одной из московских улиц. Карина улыбается мне

и показывает рукой на здание, смутно знакомое... Потом она вдруг наклоняется и поднимает что-то, блеснувшее в снегу, — связку ключей.

Открывает. Мы заходим внутрь, я вспоминаю, что когда-то ходила сюда на курсы актеров. Поднимаемся по лестнице, я чувствую, что мы идем, не касаясь ногами земли.

В большом зал я вижу себя, лежащую на сцене на каком-то камне, в таком же белом платье, как и Карина. Что это, что происходит?

— Что это все значит? — спрашиваю я у Карины.

— Как ты думаешь, сколько тебе сейчас лет? То есть, — она указывает на стол, — сколько тебе *здесь* лет?

— Семнадцать?

— Да. Ты только что вернулась из Берлина.

\* \* \*

Я чуть заметно шевельнула рукой. Карина подошла поближе и положила мне на лоб ладонь.

— Тебе сейчас очень и очень нелегко, — вздохнула она. — Мне жаль, что именно тебе, Легси, выпал такой жребий. — Она вынула из-за пазухи тонкий платок, встряхнула его и положила мне на лоб: — Еще чуть-чуть, — прошептала Карина, — потерпи еще немного.

— Что с ней? — спросила я.

— Она умирает. Уже совсем скоро.

— Мы можем ей чем-нибудь помочь?

Карина покачала головой.

— Мы не должны. Она сама так решила. Она спасает нас.

— Да что такое происходит! — не выдержала я. — Что это все значит?

\* \* \*

Мы сели прямо на полу, Карина облокотилась на камень. Она устала.

— Вся эта история, наверное, началась очень и очень давно. Мне кажется — тогда, когда люди впервые совершили свой главный грех — не каждый в отдельности, как всегда было и до, и после того, а все вместе: начали строить Вавилонскую башню. Во всяком случае, я уверена, что это началось не позже того, как Бог, решив покарать их, разметал людей по Земле и дал им разные языки. Несомненно, эта история продолжилась в восемнадцатом веке, когда наши предки приехали из Берлина на поселение в *Volga Deutsche Republik*.

Эти слова Карина выговаривает с замечательным немецким акцентом, и они долго еще

отскакивают эхом от какой-то невидимой перегородки. Я понимаю, что на самом деле ей было бы легче говорить со мной по-немецки. Она делает паузу, потом продолжает:

— Ты сама понимаешь, что девушка на этом жертвеннике — это ты, такая же, как и та, что сидит сейчас передо мной. Вопрос в другом: как? Можешь сама сказать?

— Параллельная реальность? Это я в прошлом, после Берлина, но в другом мире. То есть получается, что нас с тобой здесь нет, мы... мы — из будущего. Так?

— Почти. Оля... тебя ведь в семнадцать лет тоже все называли Легси?

— Да.

— Я даже не знаю, с чего начать рассказывать. Конечно, знай я все сама, я бы и тебе могла объяснить. Но и я тоже знаю только частицы... саму суть того, что происходит, знать невозможно. Ты, я и Легси — мы все есть суть одного и того же. Я — это наше прошлое, Легси — настоящее, ты — будущее. И на всех нас лежит одно и то же клеймо: нам всем при рождении суждено стать жертвой.

— Жертвой?

— Да. Мы можем исправить то, что сложилось плохо, неправильно, — собой. Или мы можем не использовать эту возможность, можем жить так, как живется, или даже использовать ее неправильно, не во благо, а во вред. Потому что в жизни от нас вообще мало что зависит.

Легси снова пошевелинулась и застонала. Карина встала, приоткрыла окно, взяла с подоконника горсть снега и приложила его к щекам Легси. Я тоже встала и дотронулась до своей руки; она горела. Я посмотрела на Карину.

— Почти, — сказала она.

Мы снова сели на пол, Карина торопилась мне все рассказать.

— Когда я была еще совсем мала, кто-то решил, что пора использовать меня. Но я сопротивлялась. Ты видела это — та ночь, когда я болела scarлатиной и мне чудились белые шары, когда болела и умерла моя сестра, — именно ту ночь я и имею в виду. Не понимаю, как получилось, что я выжила — ведь была еще совсем маленькая. Но я осталась в живых. Ты знаешь, как я жила дальше — война, репрессии, переезды с места на место, обиды, оскорбления, постоянный страх. Я почти сломалась... но что-то меня удержало — я не сдалась, пыталась бороться с обстоятельствами, готова была бороться со всем подряд. И наверное, решено было оставить меня в покое. Я вернулась из Казахстана в Германию. Это ничего не изменило — я была чужой в Казахстане, потому что я — немка. Но я приехала в Германию

и там стала русской — тоже чужой. Теперь я — человек без Родины. Но не опускать же руки! Родина — родная земля — для меня очень много значит. Но пока я живу во всем мире — и все равно, всем наперекор, чувствую себя счастливой, хотя бы потому, что я вообще живу, а не погибла в бурян, не была обглодана добела волками, не зачухла на рудниках, не попала в концлагерь.

— Бабушка. Ты... ты невероятная, — говорю я, — ты самая лучшая. Хотя у меня в голове не укладывается, как это так: я и есть моя бабушка, и еще одна я, и так до бесконечности.

— Так и есть. Ты — это я, твоя бабушка, но и твоя мать, и твоя будущая дочь, и ее дочери — это тоже ты. Но слушай дальше, у нас совсем немного времени. В Легси, а вместе с ней и в тебе, есть то же самое ощущение жертвенности. Вспомни свой болезненный интерес к «Ифигении в Авлиде», к самоубийствам — ты ведь чувствовала в себе это, так ведь?

— Значит, все, кто об этом думает, — потенциальные жертвы?

— Нет, конечно. Я вообще смотрю-смотрю на нынешнюю молодежь и поражаюсь, какие пуштоговые вы растете. — Она явно хитрила, давая мне понять, что не стоит воспринимать эти слова слишком уж всерьез. — У вас такая мода пошла дурацкая на суицид! Тем более что удобно ощущать себя жертвой, это так оправдывает собственное бездействие.

— Все равно не обижусь, — смеюсь я.

— Не обижайся, правильно. А нам некогда было думать об этом всем — нам надо было выживать. У вас же есть все условия для жизни — и вам тоже хочется какой-нибудь борьбы. Это глупо. Не бери в голову. В конце концов, должна же я хоть один урок тебе дать, я же твоя бабушка. Дальше... Мне пришлось потревожить тебя. С одной стороны, через меня тебе пытались объяснить, что нужно делать. Но это все так и осталось бы твоими снами, кошмарами, если бы не твои попытки открыть себе третий глаз. С тех пор как это стало тебе удаваться, я все больше и больше проникала в твою жизнь, я начала жить тобой. Мне это даже нравилось; мне вообще очень нравишься ты — так похожа на меня, — улыбнулась она. — И я решила действовать самостоятельно. Я на самом деле не хотела, чтобы ты делала это, — Карина указала на Легси и грустно покачала головой, — пыталась внушить тебе, что можно разрешить все по-другому. Но ты все поняла сама. Без меня.

Дверь со скрипом приоткрылась. Передо мной стоял хорек, тот самый хорек из метро, и так же точно он улыбался, оскалив зубы и прикидывая, с чего начать.

Я вскочила со стула, но Карина взяла меня за руку.

— Это тоже часть того, о чем я тебе говорила.

Хорек улыбнулся мне с мерзкой обаятельностью.

— Здравствуй. Извини, что я тогда напугал тебя. Не совладал с собой.

Карина сказала:

— Мы справимся вдвоем. Уходи.

Хорек пожал плечами, послал мне воздушный поцелуй и исчез.

— С тех пор как я стала пытаться объяснить тебе все на своем примере, решено было, что надо ускорить события. Раз ты не спешила совершать жертвоприношение, нужно было сделать это, не дожидаясь тебя. Это несложный ритуал, и форма его не так уж важна — была бы жертва...

Позже, разговаривая с Лицием, я часто вспоминала то, как мы сидели с Кариной на полу в зрительном зале захудалого театра, около жертвенника, на котором умирала девушка, бывшая мной самой, как она страдала, а мы не могли ей ничем помочь, потому что она была в совсем другом измерении, как Карина медленно рассказывала мне обо всем, и я не могла вставить ни слова, потому что не то что говорить — даже думать не могла ни о чем. До меня слабо доносился голос Карины:

— Потом ты поехала в Берлин, и мы дважды с тобой виделись. По твоим расспросам я поняла, что оставшееся — дело времени. Поэтому вскоре видения прекратились — в них больше не было необходимости. Я наблюдала за собой — хотела сама проводить тебя и рассказать тебе, что делать дальше. Так я появилась на той скамейке, в Берлине...

Тут Карина замолчала, и я почувствовала, что мне не хватает воздуха, как будто кто-то туго сдавил грудную клетку. Я попыталась сделать вздох, но грудь закололо тысячей иголок. Сердце встрепенулось — и резко успокоилось. Я открыла глаза и посмотрела на Карину.

Карина стояла у стола боком ко мне и держала Легси за руку.

— Все, — тихо сказала она. Я поднялась и увидела, что она плачет.

Легси была мертва. Я была мертва.

Мое лицо было белым как бумага, мои губы сравнялись с ним цветом. На запястьях просвечивали голубые вены. Я была похожа на восковую куклу — не хватало только подушки из черного бархата. С моей щеки на мою щеку скатилась слеза, и я стерла ее своим пальцем.

Карина обняла меня.

— Я горжусь тобой.

Она закрыла мне глаза и положила две монеты. Перекрестила Легси и поцеловала в лоб.

— Теперь пойдём.

— Карина, а мы можем еще немного здесь побить? — спросила я.

— Можем. Но зачем? Лучше не надо. Тем более, тебя снова ждут.

— Кто? — вздрогнула я.

— Не волнуйся. Ты заслужила большой подарок... или этот большой подарок заслужил тебя, в таких делах никогда не разберешь.

Я в последний раз посмотрела на себя.

— Спи, маленькая героиня, — сказала Карина и увела меня.

Мы снова шли, шли, шли... Вдруг Карина чуть толкнула меня, и я упала на мягкий диван.

Она села рядом. Постепенно туман рассеялся, и стало ясно, что мы сидим в холле гостиницы в Берлине.

— Теперь все, — сказала Карина. Я увидела, что у нее на щеках все еще блестят слезы. — Снов и видений больше не будет, во всяком случае, связанных со мной. А другие, наверное, будут, — вздохнула она.

— Тогда, может быть, все равно будешь и ты? — то ли спросила, то ли сказала я.

— Я надеялась, что ты спросишь, — улыбнулась Карина. — Мне пора идти. Но можешь спросить у меня еще что-нибудь, если хочешь.

— То, что сделала Легси, — поможет? Что-нибудь изменится?

Карина молчала.

— Карина?

Она не ответила.

— Карина, скажи мне, что-нибудь изменится благодаря Легси?

— Нет, — с трудом ответила она. — Мне жаль, но, наверное, мир еще не готов к такому. Но ты не должна об этом думать, и я тоже. Спроси что-нибудь другое.

Я задумалась.

— Карина, а... фиолетовый куб? Это было? Или нет?

— И все-таки ты спрашиваешь все про одно и то же. Да, это было. Еще одна ты. Ты, которая была другой, не такой, как Легси, — но стала такой, как ты сейчас.

— А как все это может быть? То есть, например, ты — это моя бабушка, но ты — и я тоже, и моя мама, и моя дочь, и моя внучка, и моя прапра-пра-кто-нибудь-там? Как это?

— Вот это один из таких вопросов, на который и я не могу ответить. Я — это я, ваша идея, а вы — множество моих воплощений. На этом все, Оль. Теперь действительно пора.

Она обняла меня и сказал:

— Будь умницей — все-таки я, как твоя бабушка, должна тебе что-нибудь такое говорить. На все свои вопросы ты сама сможешь ответить. Он тебе поможет.

— Кто — он? — удивилась я.

Карина только улыбнулась.

— До свидания.

— Знаю, — отвечает Лиций. — Теперь ты точно этого не повторишь, я не дам. Хватит тебе и одного раза. И мне тоже.

— Лиций... что значит — тебе тоже?

— То, что и я... тоже.

— «Я тоже» — что это значит, Лиций?

— Посидим на веранде?

Мы идем по гостинице, держась за руки, но отстраненно, не смотря друг на друга.

— Мы все с вами были так или иначе связаны — не только дружескими отношениями, но и чем-то другим, не знаю, как это назвать. Все люди делятся на тех, кому предназначено быть жертвой и нет. И еще на тех, кто ей станет, и тех, кто нет. Из нас тебе суждено было стать жертвой, и ты сыграла свою роль. Зимней тоже была уготована такая участь, но она идет по другой тропе. Она верит. Айс. Для нее ничего не написано. И она не играет в жертвы. Думаю, что Айс и Зимняя придут к цели каким-то иным путем. И наконец, я. Мне, как и Айс, тоже не предписана участь агнца. Но после тебя я тоже сделал это. Отдал себя.

— Подожди. Не надо все это перечислять так цинично, — тихо сказала я. — Говори нормально, пожалуйста. Зачем ты это сделал? Как это случилось? Кто тебя толкнул на это?

— Понимаешь... Мне казалось, велики шансы того, что если в одной из наших реальностей что-то изменить, то и в других все пойдет так же. И я боялся, что во всех этих мирах не станет тебя. Когда ты это сделала, я знал, почему так произошло... скорее, я даже заранее знал, но установить тебя не мог. Поэтому потом, через несколько месяцев... я тоже это сделал — для того, чтобы в другом мире мы могли быть с тобой вместе. Это была моя жертва ради нас с тобой.

...Мне кажется, что в тот вечер я в последний раз плакала за эту жизнь. Больше уже никогда не буду.

Но нам еще было о чем говорить — и мы разговаривали, пока голос не охрип. Лиций сидел на бордюре фонтана, я лежала рядом, положив голову ему на колени, и мы говорили, говорили, говорили... Я спрашивала у Лиция обо всем, потому что каким-то образом он все знал, знал с самого начала.

— Лиций, а что будет с Кариной?

— Она шла по другому пути — может, по тому, который еще только ищут Зимняя и Айс. Она вступила в борьбу — очень неравную. Борьба против Хаоса или Мира — одно и то же. Конечно, победить она не победила, но завоевала свое право на счастье. Мне кажется, она счастлива, разве не так?

— Если моя Ома Карина, то, думаю, да. А та Карина, которая моя, в белом платье?

## Пустота

### МИР не изменился.

Все было сделано напрасно.

## То ли вечность, то ли бесконечность

**КАРИНА ПОВЕРНУЛАСЬ** и пошла к выходу через холл. В дверях она обернулась еще раз, на прощание, и улыбнулась мне. Такой я ее и запомнила: босоногая девушка с удивительно грустными глазами и робкой, теплой улыбкой смотрит на меня, опираясь одной рукой о дверь. Челка спадала ей на лоб, и она снова откинула ее нетерпеливым жестом.

Карина вышла на веранду.

А мне спешить было некуда, делать — нечего, думать же было о чем.

— Оля, — голос был тихий и дымчатый.

Он ничуть не изменился: по-прежнему казалось, что он умеет читать мысли.

— Здравствуй, Лиций, — сказала я и подумала, что в ответ на мое мысленное признание в любви он скажет: «Я знаю».

Но он сказал: «Я тоже».

Так мы молчали, глядя друг на друга.

«Он тебе поможет, — вспомнила я. — Он все знает».

— Лиций... что ты знаешь? — спросила я. По сравнению с тем, как я о нем думала, вопрос мой прозвучал резко и требовательно, как будто это не был разговор, начавшийся признанием в любви.

— Про тебя и про нее. Знаю, зачем ты это сделала, знаю, что это оказалось впустую. Горжусь тобой, — очень просто, до неправдоподобности, ответил Лиций.

— Обидно, что ты так все это говоришь.

— Просто я по-другому не могу об этом говорить. Извини. Мне было очень тяжело, когда ты это сделала, даже не сказав никому из нас ничего на прощание.

— Я боялась. Я не знала, так ли делаю, не так. И еще думала, что если я вам скажу, то уже не выдержу и сдамся. Знаешь, как одиноко мне было?

— И она тоже.

— Хорошо, что она счастлива и здесь, и там. Она это заслужила. Лиций, а чем отличаются все наши миры? Хотя бы тот, в котором все было, и этот?

— Вот этого я не знаю, не могу ответить. Мне кажется, что этот мир по сравнению с тем... он какой-то искаженный. Извращенный, я бы даже сказал. В нем очень много такого, что скорее неправильно, чем правильно, — все эти суицидари, например. Они поощряют слабости людей. Такое вот извращенное будущее. Или космизм, которым занимается Айс, — это тоже неправильно, и я думаю, она сама понимает, что нужно его бросать.

— Почему?

— Она занимается искусством, а искусство больше, чем что-либо другое, идет от работы над собой, от упрямства. В ее кружке, кроме нее и еще двух-трех человек, нет ни одного настоящего художника — они все пришли от лени, от того, что хотят богемной жизни без всяких забот. А Айс действительно талантлива — ей нужно расти, и я уверен, что скоро она отойдет от космизма. Вообще, наверное, все наши миры на самом деле похожи. Просто каждый из них мы воспринимаем через какую-то призму. Или, может, миры на самом деле одинаковые, просто разные в них — мы. И мы сами — эта призма. Каждый видит только то, что хочет видеть. Я хочу видеть тебя, например. И во всем, что я вижу, я вижу тебя — потому что я смотрю на все через призму желания быть с тобой.

— Лиций, я так долго смотрела на мир через призму Карины... Хотя все-таки я знала, сразу знала, как только ты открыл мне третий глаз, что я буду любить тебя не одну свою жизнь. А скажи... мы с тобой — неправильно все сделали? То есть ты сказал про Айс, что она идет своей дорогой, и Зимняя тоже пойдет по другому пути, к Богу. Значит, мы — не к Богу? Или мы — слабые, потому что не стали бороться?

— Тебе легким показалось умереть?

— Нет.

— И мне тоже. Поэтому нельзя сказать, что мы слабые. Мы тоже идем по своей дороге. Нельзя думать, что то, что мы сделали, — грех, потому что мы не сами убили себя. Мы просто встретили смерть в той точке, в которой ее ждали. Пришли — и она сама на нас наткнулась. Но точку эту тоже нам подсказали, понимаешь? Поэтому ничего тут не скажешь — все получилось так, как должно быть. Невозможно просчитать все возможные варианты. Нам выпал один, и, как ни крути, мы сделали все, что от нас зависело. Это как карты, в которых ты играла чест-

но, а я немного сблефовал. Остальное зависит уже... — он не договорил, да и не нужно было.

— Да в-общем-то, и игра уже кончилась, — поставил Лиций точку. — Все.

— И что теперь?

— Что теперь... Круг замкнулся. Мы сейчас — снова в Берлине, в котором мы были в другом мире и в другом обличье много лет назад. Только тогда...

— Тогда, — перебила я его и процитировала фразу из своего дневника: — «Мы не были влюблены друг в друга, просто мы друг без друга не могли».

Мы рассмеялись.

— Я после выставки еще еду к бабушке. Знаешь, она пишет книгу своих воспоминаний. Правда ведь, это здорово?

— Очень. Я собираюсь поехать к ней вместе с тобой.

Я не сразу нашлась, что ответить. Какое-то непонятное тепло разлилось внутри. И я просто сказала:

— Она тебе очень, очень, очень понравится.

— А она ездила в Нестеровку?

— Да... Лиций, откуда ты об этом знаешь?

— Я следил за тобой все это время, — очень серьезно ответил он.

...Не знаю, что подумали Айс и Зимняя про Берлин. Может, он им понравился чуть меньше, чем нам с Лицием. Но выставка Айс прошла замечательно, и моя редакция была более чем довольна, как, впрочем, и флэшмобберы Зимней, и Лиций — сам собой.

Люблю в нем эту самодостаточность.

По вечерам мы снова сидели в маленьких кафе на Курюрстендамм, которая стала еще более шумной, и ощущение было такое, словно мы посещаем места былой славы, хотя нам было всего по двадцать пять, и чувство было пока незаслуженное.

Как-то вечером Лиций вдруг щелкнул пальцами, словно вспомнил что-то.

— Айс, ты не показывала? Айс нарисовала наш с тобой портрет, — сказал он. — Обязательно заберем его с собой в Тибет.

Зимняя тоже еще не видела этого портрета, и мы все поднялись в номер Айс.

Среди лабиринтов разбросанной обуви, кистей, холстов, двух или трех мольбертов, чемоданов, прислоненной к стене стояла новая картина на Айс. Она перевернула ее и подняла:

— Смотрите.

Это было что-то вроде паутины. Нити и пересекающие их круги. То есть одни паутинки прямые, а другие — как круги. Несколько кругов разомкнуто, и они выются спиралями.